

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RAKSTI

720. SĒJUMS

Valodniecība

Studia etymologica
germano – balto – slavica

SCIENTIFIC PAPERS
UNIVERSITY OF LATVIA

VOLUME 720

Linguistics

Studia etymologica
germano – balto – slavica

SCIENTIFIC PAPERS
UNIVERSITY OF LATVIA

VOLUME 720

Linguistics

Studia etymologica
germano – balto – slavica

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RAKSTI

720. SĒJUMS

Valodniecība

Studia etymologica
germano – balto – slavica

UDK 811.174(082)

Va 390

Galvenais redaktors *Dr. habil. philol.* prof. **Andrejs Veisbergs**

Redkolēģija

Dr. habil. philol. prof. **Andrejs Bankavs** (LU Moderno valodu fakultāte)

Dr. habil. philol. prof. **Ina Druviete** (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)

Dr. habil. philol. prof. **Ingrīda Kramiņa** (LU Moderno valodu fakultāte)

Dr. habil. philol. prof. **Zaiga Ikere** (Daugavpils Universitāte)

Dr. philol. prof. **Jānis Sīlis** (Ventpils Augstskola)

Dr. philol. prof. **Igors Koškins** (LU Filoloģijas fakultāte)

Dr. philol. asoc. prof. **Lidija Leikuma** (LU Filoloģijas fakultāte)

Dr. philol. asoc. prof. **Silvija Pavidis** (LU Moderno valodu fakultāte)

Dr. philol. asoc. prof. **Olga Ozoliņa** (LU Moderno valodu fakultāte)

Prof. **Aloizs Gudavičus** (Šauļu Universitāte, Lietuva)

Prof. **Krista Vogelberga** (Tartu Universitāte, Igaunija)

Atbildīgie redaktori: *Dr. philol.* asoc. prof. **Silvija Pavidis**

Dr. philol. prof. **Igors Koškins**

Krievu un vācu valodas tekstu literārā redaktore **Raisa Pavlova**

Maketu veidojis **Jānis Misiņš**

Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti.

Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja.

Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

ISSN 1407-2157

ISBN 978-9984-825-10-6

© Latvijas Universitāte, 2007

Содержание / Saturs / Inhalt / Contents

Наталья Ганина

К новой этимологической редакции крымско-готских данных

Par jauno Krimas gotu valodas etimoloģisko redakciju

Zu der neuen etymologischen Fassung der krimgotischen Angaben

7

Bogumił Ostrowski

Szkic semantyczny psl. *jъz-rod- (aspekt historyczno-porównawczy)

Par pirmslāvu *jъz-rod- semantiku (salīdzināmi vēsturiskais aspekts)

*A semasiological study of Proto-Slavic *jъzrod- (historical-comparative aspect)* 21

Юрате София Лаучюте

Субстратные балтизмы в диалектной лексике русского языка

Substrāta baltismi krievu valodas izlokšņu leksikā

Substratbaltismen in der Mundartlexik der russischen Sprache

31

Силвия Пavidис

Рефлексы ие.*ǰ в структуре корня в германских и балтийских языках и их возможная связь с другими фонологическими и фономорфологическими процессами

Garā zilbiskā līdzskaņa ie. *ǰ refleksi ģermāņu un baltu valodās un to iespējamā saikne ar citiem fonoloģiskiem un fonomorfoloģiskiem procesiem

*Reflexe des langen silbenbildenden ie.*ǰ im Germanischen und Baltischen und deren Beziehung*

zu anderen phonologischen und phonomorphologischen Prozessen

37

Екатерина Сквайрс

Русско–Ганзейские дипломатические акты как источник для этимологических решений

Krievu un Hanzas līgumu nozīme etimoloģijas uzdevumu risināšanā

Russisch-Hansische Vertragsurkunden

als Quelle für etymologische Lösungen

59

Игорь Кошкин

Этимологическая реконструкция формул древнерусско-немецких договорных грамот

Senkrievu un vācu miera līgumos sastopamo formulu etimoloģiskā rekonstrukcija

Etymologische Rekonstruktion der Formeln

der altrussisch–deutschen Vertragsurkunden

73

Татьяна Стойкова

Этимологическая рефлексия в идиолекте: стихотворение М. Цветаевой «Минута»

Etimoloģiskā refleksija idiolektā: M. Cvetajevas dzejolis «Minūte»

Etymologische Reflexion im Idiolekt: M. Zwetajewas Gedicht «Minute»

82

Галина Сырица

Лексика оттеночной цветовой гаммы: этимология и семантика

Krāsu nosaukumu nianses: etimoloģija un semantika

Lexik mit der Semantik der Schattierungen

in der Farbenbezeichnung: Etymologie und Semantik

92

К новой этимологической редакции крымско-готских данных

*Par jauno Krimas gotu valodas
etimoloģisko redakciju*

*Zu der neuen etymologischen Fassung
der krimgotischen Angaben*

Наталья Ганина

Maskavas Lomonosova valsts universitāte,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1 гуманитарный корпус,
ganina@philol.msu.ru

Крымско-готские языковые реликты были записаны в 1560–1562 гг. дипломатом и гуманистом О. Г. де Бусбеком. Они привлекали внимание германистов еще в XIX в., но наиболее авторитетная трактовка этих данных была дана в работе М. Стернса (1978 г.). Между тем достижения этимологической науки в конце XX в. (труды О. Н. Трубочева и В. Лемана) требуют нового обращения к крымско-готскому материалу. В статье обобщаются новейшие этимологические решения в этой области, предлагается ряд этимологий.

Ключевые слова: германистика, этимология, германские реликтовые языки, крымско-готский язык

I. Выдвижение новой этимологии

Имеющиеся новые этимологические версии и уточнения старых подразделяются на несколько групп в зависимости от апелляции к германскому или индоевропейскому фону.

1. Крым.-гот. *atochta* ‘malum’ ‘плох(-ое,-о)’

Надежной этимологии нет. Версии: 1) сопоставление с др.-исл. *atall* ‘сварливый’, да. *atol* ‘ужасный’ (*Grienberger* 1898, S. 127), ср. тж. (*Tischler* 1978, S. 108–111) с указанием на возможные греческие, армянские и хеттские параллели; 2) отнесение к производным гот. **hatan* ‘ненавидеть’ (*Tomaschek* 1881, S. 65). В. Леман оценивает первую версию как более перспективную и не исключает возможности отражения в крымско-готском слове суффикса *-uga-, ср. гот. *handugs* ‘умелый’ (*Lehmann* 1986, p. 47). М. Стернс восстанавливает **atəgətə* и, с синкопой, **atəxtə*, считая возможным также отражение суффикса *-aga-, подобно гот. *modags* ‘гневный’ (*Stearns* 1978, p. 129).

Крым.-гот. *atochta* можно сопоставить с гот. *ogan* (*sik*) ‘ужасаться’ (претерито-презентный глагол), интерпретируя *at-* как преверб (= гот. *at-*). Известны употребления готских претерито-презентных глаголов с превербами – ср. гот. *gadars* ‘я осмеливаюсь’, *gamunda* ‘я/он полагал’, *ganah* ‘достаточно’, *binah* ‘должно’, *binauht* (прич. II) ‘дозволено’ и др. (Гухман 1958, с. 166), хотя во многих случаях готские превербы передают значение, заданное греческими префиксами или наречиями (Сизова 1978, с. 129). В предполагаемом случае преверб *at-* должен выступать в идиоматическом значении (Сизова 1978, с. 115). Ср. *haban* ‘иметь’ – *at-haban sik* (*du* + дат. п.) ‘появляться’, *saiivan* ‘видеть’ – *atsaiivan* ‘обращать внимание’, ‘беречься’, *wisan* ‘быть’ – *atwisan* ‘наступить (о времени)’, ‘принадлежать кому-л.’, ‘оказываться под рукой’ и особенно *kunnan* (претерито-презентный глагол) ‘знать’ – *atkunnan* (Сизова 1978, с. 115, 224 – 230). Таким образом, реконструкция имеет несколько планов: 1) *ogan* ‘ужасать(ся)’ > **at-ogan* ‘отвращать(ся)’; 2) *ogan* > отглагольное прилагательное **ohts* (в текстах не засвидетельствовано; ср. *magan* ‘мочь’ > *mahts*). Значение отглагольного прилагательного **ohts* реконструируется в виде ‘ужасный, отвратительный’ – ср. гот. *þaurfts* ‘нужный, полезный’ < претерито-презентный глагол *þaurban* ‘нуждаться’, *skulds* ‘виновный’ < претерито-презентный глагол *skulan* ‘быть должным’, ‘долженствовать’.

Употребление отглагольного прилагательного от **atogan* в слабой форме – **atohta* м.р. (а именно слабое склонение указывало на постоянный признак) – соответствует крымско-готской форме (снл. *ch* = [x]). Если же обратиться к латинскому эквиваленту – *malum* ср.р. – можно оговориться, что крымско-готское слово также должно было стоять в среднем роде. Сильная форма прилагательного ср.р. выглядела бы как **atoht*, **atohtata* (> **atohta* ввиду гаплогонии), слабая – **atohto* (**atohta* м.р.). Для слабой формы **atohto* возможна редукция конечного **o* > *a*. Если считать крым.-гот. *atochta* прилагательным от **atogan* ‘ужасаться’, то следует предполагать такое развитие семантики: «ужасный, отвратительный» > «дурной» – ср. семантические потенции рус. *дурной*, описанные в словаре К. Бака (Buck 1949, р. 1178, 1194) или семантику рус. *отвратительный*, *отвратный*.

2. Крым.-гот. *cadariou* ‘miles’ ‘воин, солдат’

Этимология неясна, версии исключительно разнообразны. Х. Ф. Массман выдвинул целый ряд сопоставлений: 1) гипотетическое готское **ga-daura* ‘придверник’; 2) единично засвидетельствованное *ga-dauka** ‘домочадец, домашний’; 3) основное готское обозначение воина – *gadrauhts* (м.р. -i) (Massmann 1841, S. 363). Во всех трех случаях предполагается значительная трансформация исконного слова в ходе времени или в устах информанта. Наиболее перспективной из параллелей следует считать гот. *gadrauhts* ввиду соответствия значения. Слово **ga-daura* не засвидетельствовано в готской Библии (ср. *daurawardo* ж.р. -n ‘придверница, привратница’), а семантическая сторона реконструкции (‘привратник’ > ‘воин, солдат’) весьма уязвима, так что в целом гипотеза избыточна. Значение гот. *ga-dauka** (м.р.-n, только вин.п. мн.ч. в контексте *þans Staifanaus gadaukans* к τὸν στεφανᾶ ὄϊκον ‘дом/домочадцев Стефана’, 1 Кор. 1, 16) также не соответствует значению крымско-готской формы.

А. Беценбергер и Ф. Клуге реконструируют гот. **ga-driugs* < *driugan* ‘быть воином’, ‘принадлежать к дружине’ (Bezenberger 1879, S. 81, Kluge 1911, S. 112).

Ф. Хольтхаузен предполагает готский прототип **ga-harjo* < *harjis* 'войско' (Holthausen 1929, S. 330). О. Хёфлер восстанавливает исходное готское **gadar-* 'товарищ', привлекая для сравнения гот. *gadiliggs* 'родич', да. *gædeling* 'товарищ' (Höfler 1957, S. 246). В. Леман указывает, что все эти предположения основываются на допущении о переходе начального *g > k* (возможно, о передаче ненапряженного *g* как *k* – ср. (Stearns 1978, p. 149) или об опечатке, чему противоречит сохранение в крымско-готском начального *g* – ср. крым.-гот. *gadeltha* и др. (Lehmann 1986, p. 85). Можно видеть, что большинство попыток найти соответствие в классическом готском представляет собой реконструкции, ибо гот. *gadrauhths* даже при допущении всяческих трансформаций весьма трудно свести к крым.-гот. *cadariou*.

Другие гипотезы предполагают заимствование. В. Томашек сопоставляет с рассматриваемой лексемой алтайское чувашское *kadary* 'на чьей-либо стороне' в значении 'вспомогательные войска' (Tomaschek 1881, S. 65). Эту версию поддержал Т. фон Гринбергер, исправляя приводимую Томашеком форму как **cadarron* (Grienberger 1898, S. 129–130). Обращение к алтайскому (и) чувашскому означает тем самым предположение о контакте крымских готов с гуннами.

3. Файст учитывает турецкое *arkadaş* 'товарищ' или *kardaş* 'брат' (Feist 1939, S. 111–112)¹. М. Стернс привлекает для объяснения лат. *catervarius* 'принадлежащий к войску' (< лат. *caterva* 'войско (солдат или варварских народов)'), но считает наиболее вероятной гипотезу Р. Меннера (Menner 1937), исправлявшего слово на **cadarion* (ср. крым. – гот. *schuos* 'невеста, жена', где *u* явно должно быть исправлено на *n*) и предполагавшего заимствование лат. *centurio*, нар.-лат. **ke(n) dorion*, возможно, через позднегреч. **κεδωρίον*. В. Леман считает эту версию более перспективной, нежели поддержанное Р. Фоуксом предположение Л. Дифенбаха (Diefenbach 1846 – 1851, Bd II, S. 436) о заимствовании из кельтского (ср. валл. *kadur* 'воин', др.-брет. *catuur*, др.-корн. *cadvir* 'воин', 'солдат'), оформленном латинским суффиксом *-ārius* и отразившемся в крымско-готском как **kad-arius* 'воин', 'солдат' (Fowkes 1946, p. 448 – 449).

Диграф (дифтонг?) *-ou* в исходе крымско-готского слова и вообще в крымско-готском материале экзотичен; в записях Бусбека нет других слов с таким сочетанием. Потому либо следует принимать конъектуру **cadarion* (при графическом сходстве *u* и *n*), либо искать объяснение диграфа. Далее, обращает на себя внимание фонетический облик слова: начальный глухой *k*, звонкий смычный *d* в исходе или середине корня, подобие сингармонизма корневых гласных, исход слова латинского или греческого типа (*-ion*, **-io*). В таком случае это либо негерманская форма, либо радикальная трансформация германской. Замечания о специфическом оформлении корня надо учитывать и для латинских реконструкций.

Необходимо отметить следующее. В «Житии св. Иоанна Готского» дед св. Иоанна (отец его отца Льва) назван «кондофором» – «κονδοφόρος». Этот термин, обозначающий воинское звание и должность, по мнению В. Г. Васильевского, происходит от названия разновидности копья – *κοντάριον* или *κονδάριον* (Васильевский 1912, т. 2, с. 402 – 403). Это название копья имеет большое сходство с крым.-гот. *cadaroiu* / *cadarion*. Таким образом, возможно, перед нами заимствование греч. *κοντάριον* / *κονδάριον* в крымско-готский язык с упрощением группы (*nt* / *nd*) в языке готов или информанта (причем последний уже явно не распознает здесь греческого слова, возможно, специального или архаичного).

3. Крым.-гот. *marzus* 'nuptiae' 'свадьба'

Этимология неясна, однако предлагаемые версии разнообразны и интересны. Т. фон Гринбергер интерпретировал **z** как **p**, указывая на крым.-гот. *tzo* = гот. *þu* 'ты' (Grienberger 1898, S. 125) и реконструировал гот. **marwīþos*, привлекая в качестве основного аргумента свн. *merwen* 'держать' (+ *zuo* – в значении 'связывать, жениться'), что представляется В. Леману маловероятным (Lehmann 1986, p. 246). Гипотеза об исходном готском **marþ-hus* 'дом свадьбы', ср. гот. *gud-hus* (Much 1898, S. 198) несостоятельна по семантическим критериям. Весьма оригинальна гипотеза В. Томашека о композите **marþ-kus* – «метаязыковая» реконструкция на основе др.-инд. *márya-* 'молодой человек', 'жених', лит. *marti* 'невеста', 'молодая женщина' + гот. *kīusan* 'выбирать' (Tomaschek 1881, S. 62), однако такая степень гибридности основ не наблюдается в крымско-готском словаре. Как известно, готское слово, обозначающее брак – *liuga* (ж.р.-о) < 'клятва' (ср. др.-ирл. *lu(i)ge*) (Lehmann 1986, p. 235), глагол со значением 'жениться' – *liugan* (снгл. II). Вполне возможно, что в крымско-готском это слово было рано заменено другим. Обратим внимание, что обозначения свадьбы не отличаются высокой устойчивостью и могут варьироваться даже в пределах одной, зачастую довольно узкой языковой группы – ср. рус. *свадьба*, укр. *весілля*; на. *wedding*, нн. *Hochzeit*.

М. Стернс выдвинул версию о заимствовании крым.-гот. *marzus* из негерманского языка с возможным наложением ошибки информанта, типографа или даже самого Бусбека (Stearns 1978, p. 146), однако такой вывод представляет собой лишь констатацию типа «non leguntur». Трудно не согласиться с мнением В. Лемана об ошибочности сравнения с арм. *ma'rud* 'рабыня, девушка' (Kuun 1880, p. 242 – 243) или лат. *martius* 'март' (с привлечением румынских данных) (Scardigli 1964, p. 305). Если искать источник заимствования, надо ясно представлять, из какого языка на деле могли совершаться заимствования. Имеющиеся материалы указывают на крымско-татарский, турецкий, среднеперсидский через посредство турецкого. К словнику языков-соседей крымско-готского и следует обратиться.

В связи с этим весьма интересна этимология крым.-гот. *marzus*, выдвинутая О. Н. Трубачевым, и еще не нашедшая отражения в описаниях крымско-готского словаря. В рамках своей концепции об индоарийских реликтах в Северном Причерноморье исследователь, сопоставляя этноним *Μάρες* (понтийское племя), крым.-гот. *marzus* и др.-инд. *márya-* 'мужчина, юноша, жених', мн.ч. 'люди', реконструирует индоарийское **maria-* '(молодой) мужчина'. Как поясняет О.Н. Трубачев, крымско-готская форма отражает уже проведенную диалектную (пракритскую) аффрикатизацию *j > j̣* в местном индоарийском (тавском). В связи с этой версией О.Н. Трубачев и А.К. Шапошников указывают также на форму *Μάρζακος* (имя собственное, Пантикапей), соответствующую др.-инд. *maryaka-* 'самец', считая, что предложенное В.И. Абаевым сближение с осет. *mærzun* 'мести, сметать' маловероятно. Тем самым новая этимология крым.-гот. *marzus* в определенном смысле возвращает нас к версии В. Томашека, однако О. Н. Трубачев не принимает реконструкции композита с основой, родственной гот. **kīusan* (Трубачев 1999, с. 50, 167, 255).

4. Крым.-гот. *stap* ‘сарга’ ‘коза’

М. Стернс и В. Леман считают, что слово не имеет этимологии (Stearns 1978, p. 154, Lehmann 1986, p. 323). Версия Х. Ф. Массмана об опечатке и возведение крымско-готской лексемы к крым.-гот. **skap*, реконструируемому на основании дс. *skap*, двн. *skaf* ‘овца’ (Massmann 1841, S. 359), не может быть признана перспективной. Во-первых, конъектура Массмана устраняет не только предполагаемую опечатку, но и указанное Бусбеком значение. Во-вторых, по замечанию В. Лемана, исходная форма < общегерм. **skepo-m*) должна была бы дать в крымско-готском **schip* – ср. крым.-гот. *schlipen* и др. (Lehmann 1986, p. 323). Гипотеза Т. фон Гринбергера – сравнение с двн. (*howi*)-*stapho* ‘кузнечик’ и реконструкция для крым.-гот. *stap* внутренней формы типа ‘прыгун’ (Grienberger 1898, S. 127) представляется чисто умозрительной.

3. Файст выдвинул гипотезу о заимствовании из иранского диалекта, привлекая в качестве сравнения нперс. *čapīš* ‘годовалый козел’; ср. тж. венгер. *czáp*, польск., словацк. *cap*, чеш. *cáp*, алб. *cjap* ‘козел’ (Feist 1939, S. 450). Версия вполне имеет право на существование – в крымско-готском отмечаются заимствования из иранского (ср. *hazer* ‘тысяча’, *sada* ‘сто’). Тем не менее при этом в крымско-готской форме остается необъясненным *t*, равно как и весь начальный комплекс *st-*. Если иранская параллель верна, приходится предполагать либо своеобразную передачу экзотического начального согласного информантом или Бусбеком, либо определенное видоизменение заимствованного слова в крымско-готском. Обсуждая крым.-гот. *stap*, О.Н. Трубочев выразил мнение, что иноязычное *ts-* претерпело в крымско-готском субституцию, переходя в *st-*, подобно субституции *ts- > st-* при заимствованиях в балтийском. При этом исследователь привел албанское слово в написании *tsap*, а также дополнил перечень параллелей румынским *țap* ‘козел’, интерпретируя основу как карпато-балканскую (Трубочев 2004, с. 336).

Весьма интересна этимологизация праслав. **сарь*, проведенная О. Н. Трубочевым еще без соотнесения с крымско-готским. Обзор параллелей включает такие формы как макед. диал. *џап* ‘козел’, сербохорв. диал. *џап* ‘прозвище бородатого человека’, словен. *сър* ‘(некастрированный) козел’, чеш. диал. *сар* (тж. *сър*) ‘козел’, польск. *сар* ‘баран, козел’, рус. диал. *џап* ‘козел’ (юж., зап., Даль), укр. *џап* ‘козел’. В праславянском это слово является заимствованием; близкие формы отмечаются, прежде всего, в неславянских языках Балканского полуострова: рум. *țap*, алб. *tsap* ‘козел’, откуда в конечном счете некоторые авторы производят и само слово. Помимо указанных романских, славянские формы следует также связывать с романскими диалектными – итал. *zappo*, диал. *tsappu* ‘козел’. Далее устанавливаются определенные связи с лат. *caper* ‘(кастрированный) козел’. Существует также тенденция, с одной стороны, искать здесь доиндоевропейское субстратное слово Средиземноморья, с другой – включать его в один ареал с созвучными н.-перс. *čapīš*, *čapeš* ‘годовалый козел’ (против этого возражал Розвадовский), осет. *сæw* ‘(некастрированный) козел’, алт. *сър* ‘годовая косуля’, др.-тюрк. *сърбиш* ‘полугодовалый козленок’ (ЭССЯ 1976, т. III, 172 – 73). Таким образом, перед нами – типичный кросс-культурный термин, происхождение которого заслуживает специального исследования.

На основании этого можно судить, что крым.-гот. *stap*, по всей очевидности, также представляет собой модификацию этого широко распространенного «горного пастушеского» термина. Кроме того, выясняется, что слово могло

быть заимствовано в крымско-готский из самых разных источников: иранских, балканских или славянских языков или, чего также нельзя исключить, от романцев-генуэзцев. Дальнейшие детали нам недоступны.

5. Крым.-гот. *the/Tho* – слово, которое информант, по указанию Бусбека, предпосылал каждому называемому крымско-готскому слову

Форма интерпретируется большинством исследователей как крымско-готский определенный артикль (*Lehmann* 1986, p. 343, *Stearns* 1978, p. 156). Предполагается, что определенный артикль в данном случае, как и во всех германских языках, развился из указательного местоимения, однако детали генезиса остаются неясными. Т. фон Гринбергер и З. Файст считали, что форма представляет собой продолжение именительного падежа множественного числа или косвенных падежей готского указательного местоимения женского рода (ср. вин. п. ед.ч. *þo*, им., вин. п. мн.ч. *þos*) или именительного падежа множественного числа указательного местоимения мужского рода *þai* (*Grienberger* 1898, S. 134, *Feist* 1939, S. 476). М. Стернс полагает, что одна и та же форма могла использоваться как артикль существительных всех родов/падежей – ср. на. *the* (*Stearns* 1978, S. 156–157). Исследователь отмечает, что вариативность гласного можно приписать особенностям речи информанта (*ibid.*), не принимая гипотезу Р. Лёве о варьировании в зависимости от качества последующего гласного (*Loewe* 1896, S. 142–143).

Заслуживает внимания мнение Э. Хэмп, высказанное в связи с обсуждением работы М. Стернса: «В исследованиях по крымско-готскому языку как будто принято видеть в этих формах (*tho/the* – Н. Г.) готский, т.е. германский артикль (или старое указательное местоимение). Не говоря о том, что такое объяснение заставляет нас оставить в стороне формы именительного падежа *sa, so*, возникает также потребность в объяснении *t(h)* как рефлекса *þ*» (*Хэмп* 1979, 150). Однако Э. Хэмп выражает предположение, «что эта вокабула, возможно, вовсе не была готской в тот момент, когда Бусбек ее услышал. Прежде чем перейти к своим спискам слов, Бусбек высказывает следующее замечание: «*omnibus vero dictionibus praeponebat articulum tho aut the...*» Высказывалось мнение, что этот артикль ставился только перед именами, но Бусбек говорит другое, и я полагаю, что его можно понимать дословно.

Мы должны иметь в виду, что информант Бусбека был носителем греческого языка. Когда я занимался полевой работой, мне часто приходилось слышать, как двуязычные индивидуумы употребляют греческий артикль среднего рода *to* перед формами независимо от их содержания или языка, а также независимо от части речи. Артикль служит просто для номинализации приводимой формы» (*Хэмп* 1979, 150). Далее Э. Хэмп высказывает пожелание о проверке этой версии в Крыму на современных носителях греческого языка, что, к сожалению, в настоящее время вряд ли выполнимо... Представляется, однако, что само свидетельство исследователя может служить в данном случае если не решающим доказательством, то серьезным доводом в пользу принадлежности формы *tho* к греческому языку.

II. Уточнения существующих этимологий на германском уровне

1. Крым.-гот. *stega* ‘viginti’, ‘двадцать’

Весьма примечательное слово, не имеющее параллели в лексике готского перевода Св. Писания, где засвидетельствовано лишь *twai tigjus** (дат. п.), букв. ‘два десятка’, а не ‘двадцать’ (Гухман 1958, с. 116–117). Т. фон Гринбергер реконструировал гот. **tega < tigjus**, не находя приемлемых объяснений начальному *s* и условно предполагая исходное **twis-tigjus* ‘дважды десять’ (Grienberger 1898, S. 132–133). Эта версия предполагает серьезное искажение исконного слова. Версию Т. Зибса о заимствовании в крымско-готский греческого *στίχος* ‘ряд’ В. Леман считает сомнительным (Siebs 1922, S.171, Lehmann 1986, p. 324).

В качестве соответствий крым.-гот. *stega* привлекаются др.-фриз. *stīge*, нн. *Steige*, диал. *stiege* ‘20 предметов’ (Much 1898, S. 202, Stearns 1978, p. 154–155, Lehmann 1986, p. 324). Ф. Клуге также привлекал для сравнения готланд. *stāig*, что расширяет круг германских параллелей слова (Kluge 1913, S. 254).

Др.-фриз. *stīge*, нн. *Steige*, диал. *stiege* сопоставляется (с разной степенью уверенности у разных авторов) с двн. *stiega*, свн. *stege* ‘ступени’ (ср. гот. *steigan* ‘шагать’, ‘подниматься’) на основании «обычного количества в 20 ступеней» (ср. на. *score* ‘два десятка’, собств. ‘зарубка’, ‘счет’, нидерл. *snes* ‘двадцать’, собств. ‘ряд’) (Lehmann 1986, p. 324). Однако следует подчеркнуть, что этимология нн. *Steige*, диал. *stiege* вне сопоставления с двн. *stiega* остается непроясненной. Двн. *stiega* традиционно считается одним из примеров, отражающих общегерм. **ē₂* (обсуждение этого слова в связи с проблемой **ē₂*; Coetsem van 1998, p. 433–434). При этом крым.-гот. *stega* не привлекается у Ф. ван Кутсема, но еще давно было интерпретировано Р. Мухом как пример с **ē₂* (Much 1898, S. 202).

Возведением слова к «вечно спорному» **ē₂* можно ограничиться, но существуют и другие возможности интерпретации. Ф. ван Кутсем полагает, что происхождение **ē₂* в двн. *stiega* обусловлено вариацией аблаутной схемы I класса сильных глаголов: *ī* (основа настоящего времени) – *ī* (претерит мн.ч., причастие II) (Coetsem van 1998, p. 434). Еще до ознакомления с этой работой мне представлялось, что поиск германского этимона др.-фриз. *stīge* и крым.-гот. *stega* может привести только к одной формально и семантически удовлетворительной основе – общегерм. **steigan(an)* ‘шагать’, ‘подниматься’ (причем в принципе нельзя исключить, что в крым.-гот. *stega* мог быть представлен не **ē₂*, а исходный краткий *ī*, претерпевший расширение в *ē* по «крымско-готскому а-умлауту»). Теперь следует указать, что Ф. ван Кутсем не видит формальных препятствий в соотношении двн. *stiega* и общегерм. **steigan(an)*. Общегерм. **stīg-* / **stig-* ‘двадцатка, двадцать’ (возможно, о-основное существительное, однако точных данных у нас нет) могло иметь внутреннюю форму, коррелирующую с этимологическими параллелями общегерм. **steigan(an)* – лит. *stiegti* ‘находить’, ст.-слав. *но-стигнѣти*, рус. *достигать, достичь*²; к ие. **steigh-* ‘взбираться, подниматься’ – ср. тж. санскр. *stighnoti*, вед. *pra-stighnuyāt* ‘да подымется’, *ati-stīgham* ‘владеть’, греч. *στειχω* ‘идти, взбираться’², др.-ирл. *tiagu* ‘бродить’ (Pokorny 1959, S. 1017–1018, Lehmann 1986, p. 325). При древнем счете по количеству пальцев на руках и ногах «двадцатка» могла осмысляться как конечный результат счета как нечто *достигнутое*³. К сожалению, прямых параллелей подобного существительного в индоевропейском ареале не отмечено.

В словаре З. Файста отражено мнение о древнем заимствовании герм. **stig-* из доиндоевропейской лексики Северной Европы, где число 20 (5 x 4) выступало как первичное – ср. кельтские, датские, фризские данные (*Feist* 1939, S. 451–452). Эта версия может иметь особый интерес в связи с интерпретацией * \bar{e}_2 как звука, нередко представленного в заимствованиях (здесь следует указать на работу Я. Хилмарссона о полигенетическом характере * \bar{e}_2 – (*Hilmarsson* 1991).

2. Крым.-гот. *wichtgata* ‘album’, ‘белое’

Форма сопоставляется с гот. *hveits** к греч. *λευκός* ‘белый’ (*Лк. 9, 29, Мр. 9, 3*), *ga-hweitjan* к греч. *λευκανοί* ‘выбелить’ (*Мр. 9, 3*). Др.-исл. *hvitr*, да., др.-фриз., др. *hwīt*, днн. (*h*)*wīz*, др.-фриз. *hwīt(t)*, снл., снн. *wīt(t)* ‘белый’, ‘сияющий, блестящий’. Др.-инд. *śvetás*, авест. *sraetō-* ‘белый’, др.-инд. *śvās* ‘завтра’, ст.-слав. *сѣѣтъ* ‘светлый’, *сѣѣтуму* ‘светить, сиять’, лит. *šviėsti* ‘сиять’, *šiesūs* ‘яркий, блестящий’ < ие. **kwey-* ‘блестящий, сияющий, белый’ с формантом *-d- (*Pokorny* 1959, S. 628 – 629, *Lehmann* 1986, p. 200).

В крым.-гот. *wichtgata* Р. Лёве предполагал метатезу **hwit-* > **wiht-* (*Loewe* 1896, S. 173 – 174), Т. фон Гринбергер – модификацию типа **uiieth* (*Grienberger* 1898, S. 127). Версия о метатезе находит типологическое подтверждение в развитии да. *hwīt* > са. *whit*, на. *white* и варьировании **wh** ~ **hw** в английских диалектах. Следует, однако, учесть и указание Р. Муха на место слова в списке Бусбека: *wichtgata* помещается там между *atochta* и *mycha* – формами, где присутствует диграф **ch**, и потому **-ch-** могло возникнуть в результате описки (*Much* 1898, S. 199). Эта версия была поддержана Э. Шрёдером и М. Стернсом (*Schröder* 1910, S. 13, *Stearns* 1978, p. 163). Таким образом может быть снята проблема истолкования **-ch-**, отмеченная В. Майдом, в связи с этим предложившим интерпретацию *wichtgata* как производного гот. **hwit-* + суффикс -aga- (ср. гот. *stainahs** ‘каменистый’) + флексию среднего рода -ata (*Meid* 1967). Эта версия была принята М. Стернсом и В. Леманом (*Stearns* 1978, p. 163, *Lehmann* 1986, p. 402). Тем не менее типология развития германских лабиовелярных в германских языках и диалектах не позволяет отвергнуть версию о метатезе **hwīt-* > *wicht-*.

«Белый» – единственное цветообозначение в списке Бусбека. Очевидно, наличие этой формы обусловлено важностью цвета и понятия в быту и сельском хозяйстве.

III. Уточнение или новая этимология индоевропейской основы

1. Крым.-гот. *malthata* в *ich malthata* ‘ego dico’. *Грунна 2*

Слово сопоставляется с гот. *maþl* (ср.р., а) ‘собрание’ к греч. *ἄγορά* ‘рыночная площадь, агора’ (*Мр. 7, 4*), ‘собрание’, *maþleins** к *λαλία* ‘речь, говор’ (*Ин. 8, 43*), *maþljan** к *λαλεῖν* ‘говорить, разговаривать’ (*Ин. 14, 30*). Посредством гот. *faura-maþleis* (м.р., ja) обобщается целый ряд греческих обозначений лица, наделенного властью – греч. *ἄρχων* ‘начальник, архонт’ (*Лк. 8, 41*), *ἡγεμών* ‘правитель, игемон’ (*Неем. 5, 14*), *ἐθνάρχης* ‘правитель’ (*2 Кор. 11, 32*) и *ἄρχισυναγωγος* ‘глава синагоги’ (*Лк. 8, 49*). Германские параллели многочисленны и показательны: др.-исл. *mál*

‘речь’, да. *mæpel* ‘совет’, ‘речь’, дс. *mathal* ‘суд, сходка’, да., дс. *mæl* ‘беседа’, ‘доказательство’, двн. *mahal*, *mâl* ‘суд’; др.-исл. *méla*, да. *mæplan*, дс. *mahalian*, двн. *mahalen* ‘говорить’, ‘обещать(ся)’, тж. позднелат. *mallus* ‘суд’ < **maþlá*, *malla-re* ‘преследовать судебным порядком’ в «Lex Salica» (Lehmann 1986, p. 248).

В. Леман не видит формальных индоевропейских параллелей общегерм. **maþla-* и предполагает, что формы могли возникнуть на германском уровне или заимствоваться из неизвестного источника (Lehmann 1986, p. 248). Однако такая гиперкритичная точка зрения весьма неожиданна, поскольку рассматриваемая основа аргументированно сопоставляется с праслав. **modliiti* (*se*), ст.-слав. *молити*, рус. *молить(ся)* (ЭССЯ 1993, т. XIX, с. 91); эти формы, в свою очередь, сравниваются с хетт. *malda(i)*, *ma-al-di*, *ma-al-tai* ‘давать обет, прося что-л. у богов, обещая принести им жертву’, арм. *malt’em* ‘умоляю’¹, лит. *maldyti* ‘просить’, да. *meldian* ‘объявлять’ и др. (Иванов 1960, ЭССЯ 1993, т. XIX, с. 88). Существует и версия о раннем германском заимствовании основы **modl-* из праславянского (Мартынов 2004, с. 21 – 22), однако рассмотрение этой проблемы не входит в задачи данной статьи. Можно лишь отметить, что индоевропейский прототип германской основы **maþla-* должен выглядеть как **matlo-* или **motlo-*, и если постулировать общность основ **modl-* / **mold-* / **molt-*, то необходимо объяснить такое варьирование. О. Семереньи углубил индоевропейскую реконструкцию, возводя всю большую группу параллелей к ие. **mel-* / **mol-* (др.-ирл. *molor* ‘восхваляю’, греч. *μέλος* ‘песнь’) с разными расширителями: ср. лат. *prōmulgāre* ‘провозглашать’ и славянско-балто-хетто-армяно-германские формы с исходным **d* (цит. по: ЭССЯ 1993, т. XIX, с. 91). При этом исследователь считал, что в славянской форме произошла замена исконного индоевропейского *-tl-* на *-dl-* и потому эта форма не должна считаться вторичной (возникшей в результате метатезы). В итоге исконная индоевропейская форма восстанавливалась Семереньи как **mol-(dh)-tlo-* с последующим сокращением в **motlo* (цит. по: ЭССЯ 1993, т. XIX, с. 91).

Очевидно, что подобное нанизывание расширителей (последний из которых выглядит как орудийный суффикс) могло происходить лишь при переходе с более раннего индоевропейского на более поздний ареальный уровень. Исходная индоевропейская основа в любом случае должна восстанавливаться как **mel-* / *mol-*. К ней могли присоединяться расширители *-dh-* (> общегерм. **ð*, ср. да. *meldian* и др.)² или *-t-*, функционирование которых в индоевропейском хорошо известно – ср. ие. *ghor-dh-(os)* ‘огороженное место, город’ / *ghor-t-(os)* ‘сад’ (см.: ЭССЯ 1980, т. VII, с. 37–38). Тогда для общегерм. **maþla-* можно предположить не «усложнение-опрошение» по Семереньи, но ареальную метатезу (вполне допустимую в сакральном термине).

Можно видеть, что в германском эта основа (старый сакрально-юридический термин) уже выступает как немотивированная и подвергается дальнейшим фонетическим изменениям: ср. вариативность форм с *þ* (типа гот. *maþl*) и *h* (типа двн. *mahal*), вызванную, очевидно, диссимилиацией труднопроизносимой группы *-þl-*. Для крымско-готской формы *malthata* следует предполагать метатезу **lþ* < гот. *þl*, хотя можно предложить и более смелую интерпретацию *malthata* как уникального германского продолжения ие. **molt-* без метатезы. Если считать, что расхождения крымско-готского с готским и общегерманским были значительными, такая гипотеза может расширить известную ситуацию, обычно иллюстрируемую крым.-гот. *geen*, трактуемым как атематический глагол, и т.п.

Однако надежнее придерживаться традиционного соотнесения *malthata* с гот. *maþljan**. Судя по принадлежности *maþljan** к I классу слабых глаголов, можно заключить, что в крым.-гот. *malthata* отражена форма претерита 'сказал' (*Förstemann* 1874–1875, Bd II, S. 166, *Feist* 1939, S. 349–350, *Lehmann* 1986, p. 247). Т. фон Гринбергер интерпретировал слово как форму претерита I л. ед.ч. *maþlida* с метатезой þl > lþ и видоизмененным дентальным суффиксом (*Grienberger* 1898, S. 130–131). М. Стернс интерпретировал *malthata* как форму настоящего времени I л. ед.ч. **mal(p)* в контракции с указательным местоимением *þata* (*Stearns* 1978, p. 144–146), что можно оценить как экономное и остроумное решение.

2. Крым.-гот. *mycha* 'ensis' 'меч' (не 'gladius'!)

Готское соответствие – *meki* к греч. *μάχαϊρα* 'короткий меч' (вин.п. ед.ч. в контексте *Еф.* 6, 17), ср. рун. *makija* (Vimose), др.-исл. *mækir*, да. *mæce*, дс. *māki*. Основа **mēki* – не исконно германское обозначение меча, а кросс-культурный термин. Версии проникновения в германский: 1) неизвестным путем (из Скифии на Дунай?) из иран. **madyaka* 'прикрепленный к поясу' (*Szemerényi* 1979, S. 110–118, *Lehmann* 1986, p. 252); 2) из кельтского – как производное основы **mesc-* 'сверкать, блестеть' (*ЭССЯ* 1993, т. XVIII, 1993, с. 41–42). Последняя гипотеза представляется более убедительной ввиду надежного семантического и культурного обоснования: обозначение клинкового оружия как «белого, блестящего» – известная линия развития семантики, а соотнесение основы с кельтским учитывает роль кельтов как металлургов и данного ареала как источника культурных влияний в латенскую эпоху (*ЭССЯ* 1993, т. XVIII, с. 38 – 41). Важно также отметить соответствие этой версии общей картине германских заимствований из кельтского (термины металлообработки, боевого снаряжения). Фонетическое оформление основы позволяет предполагать заимствование до первого передвижения согласных.

Из древнегерманского эта основа заимствована в финно-угорские (ср. фин. *miekka*) и славянские языки (ср. ст.-слав. *мечь*). В крым.-гот. *mycha* наблюдается действие той же фонетической закономерности, что и в крым.-гот. *mine* 'луна': гот. *ē* сужается в *i*. Что касается консонантизма, то отражение исконного готского *k* в виде [x] формально выглядит как довод в пользу гипотезы О. Хёфлера о «крымско-готском передвижении согласных» (*Höfler* 1957). Однако, поскольку имеются и контраргументы, в данном случае скорее следует видеть аспирированный [k^h]. М. Стернс предполагает здесь недостаточную компетентность информанта, воспроизводившего аспирированный смычный как щелевой, поскольку в крымском греческом в такой позиции часто представлены щелевые (*Stearns* 1978, p. 148).

3. Крым.-гот. *siluir* 'argentum', 'серебро'

Гот. *silubr* к греч. *ἄργυριον* 'серебро' (*Лк.* 19, 15). Др.-исл. *silfr*, да. *sio-lufr*, *siolfor*, др.-фриз. *sel(o)ver*, *silver*, дс. *silubar*, двн. *sil(a)bar* 'серебро'. Для объяснения и в гот. *silubr* В. Леман проводит аналогию с гот. *miluks*, предполагая специфическое развитие слогового сонорного. Лит. *sidābras*, лтш. *sidrabs* (ныне *sudrabs* – Н.Г.), др.-прус. *siraplis*, ст.-слав. *сьребро*, рус. *серебро* (*Lehmann* 1986, p. 303). Исследователи единодушны в определении названия «серебра» как кросс-

культурного (миграционного) термина, однако вопрос о путях миграции остается дискуссионным. Новейшая (и, возможно, наиболее четко обоснованная) версия, выдвинутая О.Н. Трубачевым, предполагает распространение серебра из области Прикубанья и возникновение слова (сопоставляемого с др.-инд. *śubhrá-* ‘красивый’, названием города *Σιβρίαλα* *‘светлая вода’) именно в этом регионе, индоарийском по языку (Трубачев 1994, с. 79, 274).

Крымско-готское слово могло быть осмыслено под влиянием соответствующих западногерманских форм. Не исключено, однако, что готский *r* в позднейшую эпоху мог в свою очередь развить эпентетический *u*. Тогда крымско-готскую форму следует восстанавливать как **silubur* > **silbur*. Далее в действие могла вступить редукция – так, М. Стернс полагает, что здесь, как и в других подобных случаях, информант воспроизвел крымско-готский редуцированный [ə] в виде полного гласного (Stearns 1978, p. 153).

Таковы некоторые примеры новой этимологической редакции крымско-готских данных, которая в полном виде (с организацией по словарному принципу и последующим теоретическим обсуждением) будет представлена в работах автора, в настоящее время готовящихся к публикации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильевский В. Г. *Труды в 4-х томах*. Т. 2. Вып. 1. СПб, 1909; Т. 2. Вып. 2. СПб, 1912. Т. 3. Пг., 1915.
2. Гухман М. М. *Готский язык*. М., 1958 (Репр.: М., 1994 и след.).
3. Иванов В. В. Русск. молить и хет. *malda(i)*. В кн.: *Этимологические исследования по русскому языку*. М., 1960, с. 80–86.
4. Мартынов В. В. *Язык в пространстве и времени*. К проблеме плоттогенеза славян. Изд. 2-е. М., 2004.
5. Сизова И. А. *Становление германского глагольного словообразования (на материале готского языка)*. М., 1978.
6. Трубачев О. Н. *Indoarica в Северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка*. Этимологический словарь. М., 1999.
7. Трубачев О. Н. *Труды по этимологии*. Т. I. М., 2004.
8. Хэмп Э. Формы *tho/the* у Бусбека. В кн.: *Этимология*. Пер. с англ. О.Н. Трубачева. 1977. М., 1979, с. 150.
9. *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд [ЭССЯ]*. Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974.
10. Bezzenger, A. Hvaiva. In: *Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen*. Bd 3, 1879, S. 80 – 81.
11. Buck, C. D. *Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages*. Chicago – Illinois, 1949.
12. Coetsem, F. van. Reconditioning and umlaut in Germanic, and the question of **e*₂. In: *NOWELE: North-Western European Language Evolution*. Vol. 31 – 32, 1998, p. 423–437.
13. Diefenbach, L. *Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache*. Frankfurt 1846 – 51. Bd I – II (rpt: Wiesbaden, 1967).
14. Feist, S. *Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache*. 3. Aufl. Leiden, 1939.
15. Fowkes, R.A. Crimean Gothic *cadariou* ‘miles’, ‘soldier’. In: *Journal of English and Germanic philology*. Vol. 45, 1946, p. 448 – 449.
16. Grienberger, Th. von. (Rez.) Loewe R. Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere. In: *Zeitschrift für deutsche Philologie*. Bd 30, 1898, S. 123–136.

17. Höfler, O. Die zweite Lautverschiebung bei Ostgermanen und Westgermanen. In: *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur* (Tübingen). Bd 79, 1957, S. 161–350.
18. Hilmarsson, J. On *e₂ in Germanic. In: *Acta Linguistica Hafniensia*. Vol. 23, 1991. p. 33–47.
19. Holthausen, F. Gotica. In: *Indogermanische Forschungen*. Bd 47, 1929, S. 329–333.
20. Kluge, F. *Die Elemente des Gotischen. Eine erste Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft*. Straßburg, 1911.
21. Kluge, F. *Urgermanisch. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte*. Straßburg, 1913.
22. Kuun, G. *Codex Cumanicus. Bibliotheca ad templum divi marci venetiarum*. Primum ex integro edidit prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit. Budapestini, 1880.
23. Lehmann, W.P. *A Gothic Etymological Dictionary*. Based on the 3d ed. of *Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache* by Sigmund Feist. Leiden, 1986.
24. Loewe, R. *Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere: Eine ethnologische Untersuchung*. Halle, 1896.
25. Massmann, H.F. *Gothica Minora*. In: *Zeitschrift für deutsches Altertum*. Bd I, 1841, S. 294–393.
26. Meid, W. Wortbildungslehre. In: *Germanische Sprachwissenschaft*. 6. Aufl. Hrsg. von H. Krahe. (Sammlung Göschen 1218). Bd. III. Berlin, 1967, S.188–192.
27. Menner, R.J. Crimean Gothic cadarion (cadariou), Latin centurio, Greek κεντυρίων. In: *The Journal of English and Germanic Philology*. Vol. 37, 1937, p. 168–175.
28. Much, R. (Rez.) Loewe R. Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere. In: *Anzeiger. Indogermanische Forschungen*. Bd 9, 1898, S. 193–209.
29. Scardigli, P. *Lingua e storia dei Goti*. Firenze, 1964.
30. Schröder, E. *Busbecqs kringgotisches Vokabular*. Göttingen, 1910.
31. Siebs, Th. Krimgotisch kilemschkop. In: *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*. Bd. 46, 1922, S. 170–172.
32. Stearns, M. *Crimean Gothic: Analysis and Etymology of the Corpus*. Stanford, 1978.
33. Tischler, J. *Neu- und wiederentdeckte Zeugnisse des Krimgotischen*. Innsbruck, 1978 (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften. Hrsg. von W. Meid).
34. Tomaschek, W. *Die Goten in Taurien*. Wien, 1881.

Kopsavilkums

Diplomāts un humānists O.G. de Busbeks 1560.–1562. gadā pierakstīja Krimas gotu valodas reliktus. Ģermānistu uzmanību tie pievērsa sev jau 19. gadsimtā, taču tikai 1978. gadā M. Sterna veiktais traktējums tiek uzskatīts par pirmo autoritatīvo pētījumu šajā jomā. Bet 20. gadsimtā etimologu sasniegumi (O. Trubačeva, V. Lemana darbi) atļauj no jauna interpretēt un izvērtēt Krimas gotu valodas liecības. Rakstā tiek apkopoti jaunākie etimoloģijas sasniegumi šajā jomā, kā arī piedāvāti jauni etimoloģiski risinājumi.

Atslēgvārdi: valodniecība, ģermānistika, etimoloģija, reliktu valodas, Krimas gotu valoda.

Zusammenfassung

Die krimgotischen Wörter wurden im 16. Jh. (um 1560–1562) von Ogier G. de Busbecq gesammelt. Heute sind krimgotische Sprachreste weit anerkannt (vgl. Arbeiten von M. Stearns, O. Grønvik, J. Tischler). Aber viele Fragen der Etymologie des Krimgotischen sind noch nicht gelöst. Die russische etymologische Schule (vor allem O.N.Trubačjow) behandelte auch das Krimgotische und bot eine Reihe neuer Lösungen an. Außerdem führten russische und ukrainische

Archäologen und Historiker fundamentale Forschungen durch und veröffentlichten die Ergebnisse, die den Linguisten im Westen fast unbekannt sind. Andererseits ist für russische Historiker die linguistische Seite des Krimgotischen ganz fremd. So ist das Problem des Krimgotischen gar nicht erschöpft und man kann die Angaben von Busbecq neu betrachten. Einige Ergebnisse der Forschung stellt der Autor im Artikel dar.

Schlüsselworte: Sprachwissenschaft, Altgermanistik, Etymologie, Restsprachen, Krimgotisch.

Сокращения

авест. – авестийский
алб. – албанский
алт. – алтайский
арм. – армянский
валл. – валлонский
вед. – ведический
венгер. – венгерский
гот. – готский
готланд. – готландский
греч. – греческий
да. – древнеанглийский
диал. – диалектный
др.-брет. – древнебретонский
двн. – древневерхненемецкий
др. – инд. – древнеиндийский
др.-ирл. – древнеирландский
др.-исл. – древнеисландский
др.-корн. – древнекорнуэльский
др.-прус. – древнепруссский
др.-тюрк. – древнетюркский
др.-фриз. – древнефризский
дс. – древнесаксонский
ие. – индоевропейский
иран. – иранский
итал. – итальянский
крым.-гот. – крымско-готский
лат. – латинский
лит. – литовский
лтш. – латышский
макед. – македонский
на. – новоанглийский
нар.-лат. – народная латынь
нидерл. – нидерландский
нн. – новонемецкий
нперс. – новоперсидский
общегерм. – общегерманский

осет. – осетинский
 позднегреч. – позднегреческий
 позднелат. – позднелатинский
 польск. – польский
 праслав. – праславянский
 рум. – румынский
 рун. – рунический
 рус. – русский
 са. – среднеанглийский
 санскр. – санскрит
 свн. – средневерхненемецкий
 сербохорв. – сербохорватский
 словацк. – словацкий
 словен. – словенский
 снл. – средненидерландский
 снн. – средненижненемецкий
 ст. – слав. – старославянский
 укр. – украинский
 хетт. – хеттский
 фин. – финский
 чеш. – чешский

Примечание

1. Это слово засвидетельствовано также в крымско-татарском языке.
2. Если крым.-гот. *stega* относится к тому же этимологическому гнезду, что общегерм. **steigan(an)*, то греч. *στίχος* ‘ряд’ всё-таки оказывается родственным этому слову, хотя и иначе (генетически).
3. В таком случае двн. *stiega* ‘лестница’ должно осмысляться не как прямая параллель крым.-гот. *stega*, а как еще одно производное от той же основы.
4. Арм. *maltʻem* восходит к ие. **malth-* и тем самым заставляет предполагать чередование **-dh-/-th-* в исходе корня (ЭССЯ 1993, т. XIX, с. 90).
5. См. сноску 4.

**Szkic semantyczny psł. *jbz-rod-
(aspekt historyczno-porównawczy)**

***Par pirmslāvu *jbz-rod- semantiku
(salīdzināmi vēsturiskais aspekts)***

***A semasiological study of Proto-Slavic *jbzrod- (historical-
comparative aspect)***

Bogumił Ostrowski

Polijas ZA Slāvistikas institūts, Krakovas filiāle,

al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków

bostr@wp.pl

Analizie semantycznej poddano wybrane słowiańskie leksemy z pierwiastkiem *rod-, ze szczególnym uwzględnieniem kontynuantów psł. *jbzrod-. W miarę możliwości wykorzystano fakty współczesne (zarówno literackie, jak i gwarowe) oraz historyczne. Zwrócono uwagę na zjawisko określone w językoznawstwie mianem enantiosemy. Psł. *rodь (< pie. *uredⁿ- / *uerdⁿ- ‘rosnąć, rozrastać się, wznosić się’: ‘to, co rośnie, wyrasta, co wyrosło’) oznaczał najpierw ‘urodzaj, obfitość (zwłaszcza plonu)’: ‘szczęśliwy zbieg okoliczności, szczęście, prosperita’. W ciągu wieków znaczenie ewoluowało w kierunku: ‘ród (< ‘wspólne wzrastanie’: ‘społeczność połączona więzami krwi’); rodzina; ‘pokrewieństwo, powinowactwo’; ‘pochodzenie, urodzenie’. Niezłe udokumentowana jest treść ‘zespół cech wspólnych; cechy wrodzone, skłonności’ oraz ‘rodzaj, gatunek’, a z drugiej strony – ‘członek rodu, współplemiennik’: ‘dziecko’. Przy analizie wykorzystano obserwacje paralelnego łac. wyrazu *partūs, -ūs* ‘poród; potomek’. W artykule nie pominięto takich psł. leksemów jak *rod’ajb : *urod’ajb : *porod’ajb, czy też innych prefigowanych wyrazów z rdzeniem *-rod- w znaczeniu ‘plód (jajko)’ > ‘młoda istota’ > ‘dziecko, młode zwierzę, pisklę’.

Słowa kluczowe: semantyka, rozwój znaczeniowy, grupa semantyczna, enantiosemy.

Zanim przystąpię do prezentacji zapowiedzianych we wstępie kontynuantów psł. *jbzrod-, wydaje mi się zasadnym przypomnienie najważniejszych ustaleń dotyczących samego rdzenia *rod-. Odtwarzane najczęściej dla psł. *rōdь (g. *rōda) praznaczenie ‘pokolenie, plemię; generatio, gens’, znajdujące mocne wsparcie w realnych poświadczeniach poszczególnych języków słowiańskich, jest – jak można wnosić na podstawie porównania z danymi pokrewnych języków indoeuropejskich – kolejnym już ogniwem w jego rozwoju semantycznym, ogniwem o tyle istotnym dla dalszych naszych rozważań, że spajającym epokę przedhistoryczną z historyczną. Oczywiście jest, że etapy rozwoju znaczeń w epoce piśmienniczej można określić dość precyzyjnie. Natomiast do odtworzenia stanu sprzed tego okresu trzeba nierzadko sięgnąć po dane pozasłowiańskich języków indoeuropejskich. Dla naszych potrzeb wsparciem są: litew.

dial. *rasmē* (< **radsmē*) ‘Gedeihen, Ergiebigkeit; obfitość, urodzaj’, łot. *rasme* ‘powodzenie’, gr. ὀρθός, dor. βορθό- ‘aufrecht, gerade, richtig, wahr; wyprostowany, podniesiony, stojący prosto; prosty’, stind. *várdhati, várdhatē, vřdháti* ‘wächst, mehrt sich; rośnie, nisila się, rozprzestrzenia się’, awest. *varəd-* ‘wachsen machen’. Powyższe fakty pozwoliły uczonym z jednej strony połączyć nasz wyraz z pie. **ured^h-* / **yerd^h-* ‘wachsen, steigen; hoch = rosnać, rozrastać się, wznosić się’, z drugiej odtworzyć znaczenie ‘to, co rośnie, wyrasta, co wyrosło’ (*Pokorny* IEW: I 1167, *Boryś* 2005: 524, *Bezłaj* ES III 190). Nie sposób przy tej okazji nie przytoczyć pewnych uwag O.N. Trubačeva: «*Типичным для славянского и отличающим его от других индоевропейских языков, в том числе и от балтийских, является исключительное употребление в значениях «род, рождать(ся)» местных названий (...) Это чисто славянское новшество, которое, однако, представляет собой в сущности лишь новое использование древних индоевропейских морфем. (...) В славянском существует ряд форм, фонетически близких к родъ, родити: русск. радеть ‘стараться’, сербск. рад ‘работа’, русск. рад, ст.-сл. расти. Сопоставим семантически более близкие родъ, родити : расти. Эти формы сравниваются с санскр. řdhāti ‘процветает, удаётся; совершает’, латышск. rads (= ст.-слав. родъ), форма с начальным плавным считается здесь исконной» (*Трубачев* 1959: 151). W dalszej części analizy autor skupia swą uwagę na szeregu ciekawych odniesieniach strukturalno-semantycznych w innych językach indoeuropejskich, ustosunkowując się do dotychczasowych ustaleń. Swe rozważania kończy konkluzją: «*А. Брюкнер (AfsIPh, 40, 1926, 12–14) был довольно близок к истине, когда говорил, что родъ, родити означало сначала ‘успех, цветение’, ‘урожай, прибыль’, ‘забота’»* (o.c. 153).*

Większość realnych poświadczeń kontynuantów psł. **rodъ* na którymś z etapów historycznego rozwoju poszczególnych języków słowiańskich lub ich dialektów oscyluje wokół znaczeń ‘ród, rodzina (członkowie tego samego rodu, których łączą więzy krwi)’, skąd też ‘pokrewieństwo, powinowactwo’, ‘pochodzenie, urodzenie’. Niezłe udokumentowana jest treść ‘zespół cech wspólnych; cechy wrodzone, skłonności’, przekształcona w następnym etapie w ‘rodzaj, gatunek’ (por. chociażby: dłuż. *pcolkowy rod* – Muka: II 312–13, strus. w Izborniku z 1073 r. *родъ*: пр. (...) *видъ же есть подъячинимае по родъ* (*Срезневский* 1903: III 135–8, ros. *род* (пр. человеческий, людской) – *ССРЛЯ* 1961: XII 1373–74, czy pol. dial. *trunki* dwojakowo *rodě* – *Karłowicz* 1907: V 29). Warto przypomnieć, że funkcjonujący dziś w tym znaczeniu we współczesnej polszczyźnie literackiej wyraz *rodzaj*, przed ostatecznym przejściem tejże treści, przeszedł równie długą drogę przeobrażeń semantycznych. Konteksty użycia tegoż leksemu, znanego polszczyźnie już od XIV w., wskazują na inne jego znaczenia: ‘rodzina, ród, naród’, ‘generacja, pokolenie’, ‘pochodzenie, rodowód’, ‘narodziny, urodzenie’, ‘płodność’, czy też ‘natura, przyrodzenie’ (*SSp* 1973–77: VII 476–78). Nie sposób nie zauważyć, że wszystkie te odcienie znaczeniowe były, a niektóre pozostały do czasów współczesnych, właściwe dla podstawowego wyrazu *ród*. Jedno z wcześniejszych znaczeń leksemu *rodzaj* ‘urodzaj’, poza polskim, poświadczone jest także w ukr. *рôжай* ‘ts.’ (*Гринченко* 1909: IV 29). Wyraz w tej samej postaci strukturalnej zapisany został również w *Malorusko-niemieckim słowniku* Żelechowskiego. Dla naszych dociekań istotne jest to, że podany w nim niemiecki ekwiwalent semantyczny tegoż wyrazu ‘Gedeihen, Leben’ (*Желеховский* 1886: II 811) – znaczący ‘wzrost, pomyślny rozwój; życie’, jest najbliższym chyba (i przez to najstarszym) ogniwem, dotyczącym znaczenia prymarnego ‘szczęście, pomyślność; obfitość (urodzaju)’. Omawiany derywat – utworzony za pomocą suf. *-jajb¹* bezpośrednio od podstawy werbalnej psł. **rodĭti rōdišb* ‘wydawać na świat

potomstwo, dawać płody, owocować' (o akcentuacji p. Bezłaj: III 190) – posiada w Słowiańszczyźnie dość szeroki zasięg występowania. Budowa i wyprowadzalność z jednego źródła, choć w szczegółach nieco zindywidualizowane, znaczenia w poszczególnych językach (dla porównania: pol. i sła. przestarzałe *rodzaj* 'gatunek, odmiana' – *HSSJ* 2000: V 78, sch. *rōdāj* 'poród, urodzenie, narodzenie', dial. 'wschód słońca': *rōditi rōdīm* 'roditi, obroditi, vziti (o soncu) – *RJA* 1959: sv. 59, 98 nn.; 115, strus. *рожан* od XIII w. 'twór, płód', 'urodzenie; wydanie potomstwa', 'ogół cech wspólnych, przyrodzonych' (*Срезневский* 1903: III 140 i tp.) wskazują na jego archaiczny charakter.

Z kolei, obserwacja przedstawionego wyżej materiału, umożliwiła wysnucie wniosku, dotyczącego specjalizacji semantycznej przytoczonych polskich wyrazów z rdzeniem *rod- na przestrzeni dziejów. Bezpośredni polski kontynuant psł. *rodъ utrwalił się przede wszystkim w znaczeniu 'ród, rodzina; wspólne pochodzenie', leksem *rodzaj* wyspecjalizował się w treści 'gatunek, rodzaj', zaś sens 'obfitość urodzaju, bogactwo plonu' został przejęty przez dewerbalną formację prefigowaną *u-rodzaj* (< *urodzić*).

Kiedy w wychwyceniu kolejnych etapów przeobrażeń semantycznych i w określeniu ewentualnych zależności zawodzi (czy też piętrzy wątpliwości) materiał rodzimy, warto posłużyć się analogicznymi pod względem semiotycznym (nie koniecznie etymologicznym) danymi innych języków. Są one często argumentem dowodzącym paralelnego procesu przekształceń i rozwoju znaczeniowego poszczególnych grup semantycznych. Dla potrzeb niniejszej analizy, zawierającej w swej bazie motywacyjnej słów. rdzeń *rod-, posłuży nam łac. wyraz *partūs, -ūs*. Ten posiadający znaczenie ogólne 'rodzenie, poród' i realizujący się również w treściach szczegółowych: 'czas porodu', 'pochodzenie', 'płód; dziecko, syn, młode' (*Kumaniecki* 1957: 352) leksem, to nomen deverbale od *parere pariō* 'rodzić, wydawać na świat; (o ptakach) znosić jajka' (*Plezia* 1974: IV 31–2). Ponieważ w obu przypadkach daje się zauważyć zbieżność znaczeń, można wnioskować z dużą dozą prawdopodobieństwa identyczny rozwój: 'proces rodzenia, wydawania na świat potomstwa' (nomen actionis) > 'akt narodzin = moment urodzenia potomstwa' (nomen acti), czy '„wytwór” tego procesu i aktu, czyli nową istotą, potomka (dziecko, młode zwierzę, a nawet jajo – jako załączek życia)'. O ile dwa pierwsze ogniwa tego łańcucha bezsprzecznie pozostają silnym związkiem motywacyjnym z czasownikiem, o tyle w wyabstrahowaniu się znaczenia metonimicznego 'młoda istota, dziecko' sprzyjać mogły także inne czynniki. Myślę tu o udokumentowanej w materiale opozycji ZBIOROWOŚĆ 'wspólnota pobratymców, członkowie rodu': JEDNOSTKA 'współplemiennik, pojedynczy członek rodu', por. strus. *родъ* 'ród, pokolenie' 'plemie, naród', 'rodzina': 'соплеменник, земляк', por. *аз бѡ есмь родѣ вашь ї єдино земл с вами* (*Срезневский* 1903: III 137). Tę opozycję dostrzega wyraźnie Plezia w łac. *partus*, dystansując znaczenia metonimiczne 'ród': 'płód, dziecko, młode zwierzę' od tych typowo dewerbalnych (*Plezia* 1974: IV 38). Myślę, że w słowiańszczyźnie owo syngulatywne znaczenie 'członek wspólnoty rodowej', poświadczone chociażby w staroruskim, poprzedzać mogło kolejne 'pojedynczy, nowonarodzony członek grupy' > 'nowa istota; dziecko'. Tę ostatnią treść dobrze dokumentuje przykład z gwar polskich na Kujawach: A lulaj mi lulaj, ty maleńki *rodzie* (*Karłowicz* 1907: V 63). Znaczenie 'dziecko, młode zwierzę lub ptak' poświadczone jest w bułg. derywatach z suf. *-ъба* (: *-ъбѣса, -ъбина*): *рожеба* : *роджеба, рожебица, рожебина* (*БЕР* 2002: VI 298–304).

O tym, że psł. *rod- i derywaty oparte na nim funkcjonowały nie tylko w grupowym, ale i jednostkowym w znaczeniu, świadczą też inne dane. Są to zwykle leksemy (ze względu na rozbudowaną strukturę) dodatkowo nacechowane semantycznie, jednakże ich główna treść to nic innego jak 'dziecko, istota niedorośla'. Należą tu: bułg.

òpoda ‘ostanie dziecko w wielodzietnej rodzinie, wyskrobek’, *òpodaκ* dial. ‘ostatnie dziecko w rodzinie’, *òpodaκ* ‘ts. w wielodzietnej rodzinie’ (BEP l.c.), czes. *zrod* małżeński [nemałżeński] (termin prawniczy) – ‘dziecko ślubne [nieślubne]’ (SSJ: V 718), pol. dawne i regionalne *zrodek* ‘zrodzony z kogo, płód, plemię czyje’: wstydzicie się swoich zrodków (*Słownik języka polskiego* 1861: 2244), śl. *zrodenec -nca* ‘potomek, dzić’: *Zrodenci zeme* (SSJ V 718), strus. i rus.-cs. *изродъ* ‘dziecko, potomek’ (CPЯ 6, 205; *Срезневский* I 1078), śl. *izròdek* dawne ‘die Bastardart = nieślubne dziecko’ (*Pleteršnik*: I 341), bułg. *ùzrodaκ* : *uzrodòk* ‘ostatnie dziecko w wielodzietnej rodzinie’, *ùzrodьk* ‘małe jajko’ (BEP l.c.), *poròduци* pl. ‘dzieci rodzące się rok po roku, jedno za drugim’ (: *nòpoda* ‘rodzić dzieci jedno po drugim; por. też adi. *poròden* ‘urodzony jeden po drugim, zwykle rok po roku’, także w funkcji subst. ‘dziecko urodzone jako drugie’ (ib.), śl. (dawne 1648 r.) *porodok [-ek]* ‘potomek, dziecko’ (HSSJ: III 124), czy w końcu chorw. dial. *pòrod* ‘djęte, djeca’: Pajo nema svog *pòroda* (*Sekulić* 2005: 426²).

Wspomnianą opozycję ‘zbiorowość’: ‘jednostka’ znakomicie ilustruje inny polski leksem z rdzeniem **rod-*: *naród*. Jedno z wielu ogniw – wyprowadzalnych ze wspólnego kolektywnego ‘ogół członków’³ – ‘potomstwo, dzieci’ stworzyło możliwość wyłonienia się znaczenia singulatywnego ‘potomek, dziecko’. Dowodzi tego dokumentacja zgromadzona w Słowniku gwar polskich: por. *naród* ‘lud, ludzie’ (z Lubelskiego, Kujaw, Litwy), ale także wyraziście: „A uśnijże, ty mały *narodzie*, com cie znalazła w marchwi na ogrodzie” (z kołysanki), „*Narody* = małe dzieci”, czy „mieli dziewięcioro *narodu*” (*Karłowicz* 1903: III 260).

W badanej rodzinie wyrazowej sporą podgrupę stanowią wyrazy dające się przyporządkować leksyce następujących pól semantycznych: 1. ‘obfitość (plonu), urodzajność; dorodność, uroda’, 2. ‘nieurodzaj, brak plonu’, czy wreszcie 3. ‘zmiana (cech gatunkowych)’.

Przyjrzyjmy się nieco baczniej materiałowi słowiańskiemu skupionemu wokół trzeciego z wymienionych pól semantycznych. Fakty językowe dowodzą niezbicie, że poświadczony w słowiańszczyźnie enacjosemiczne znaczenia ‘degeneracja, zwyrodnienie, wynaturzenie; brzydota’ – z jednej strony, a z drugiej – ‘piękno, uroda’ to wynik ewolucyjnych procesów semantycznych. Punktem wyjściowym dla tych podążających w przeciwnych kierunkach zmian jakościowych musiało być jakieś znaczenie neutralne ‘każda (wyraźnie dostrzegalna) różnica, przeobrażenie, zmiana w stosunku do stanu, obiektu lub subiektu, z którym coś lub ktoś jest porównywane/-y’. Znaczenie ‘zmieniać się pod względem fizycznym bądź psychicznym, przeobrażać się, przeistaczać się’ musiało zatem stanowić etap początkowy dający asumpt kolejnym stadiom rozwojowym, obserwowanym na przykładzie słowiańskich kontyuantów **jьzrod-*. Intuicyjnie na taki ciąg ewolucyjny wskazał W. Dal, p: „Слово *изродный*, как и *уродливый*, принимает двойное значение *выродка*, в хорошем и дурном смысле” (*Даль* II 73).

Zwykła perfektywizacyjna funkcja suf. *jьz-* (ew. *sv-*, gdyż nie zawsze udaje się odtworzyć postać wyjściową) dobrze poświadczona jest grupie zachodniej: pol. *zrodzić -dzę* od XV w. ‘zrodzić, wydać na świat potomstwo; porodzić’ (SSp XI 474 z BZ: Cy wszitci bily spoymaly zoni sobye s czvdzego rodu, a bili zoni gich, gesz bily *zrodzili* sini; dziś także np. w dial. kasz. i śli. *zrozęc (zrozęc)*, *Sychta* VI 333⁴), głuź. *zrodzić -i* ‘ts.’ (*Zeman* 618), czes. *zroditi* książk. ‘ts.’ (*PSJČ*: 8, 817), śl. *zrodit’* ‘ts.’: v otroctve *zrodila* ma mać, ‘dać początek czemuś’ (SSJ V 718). Znaczenie ‘urodzić, wydać na świat’ poświadczony jest także w językach południowosłowiańskich: sch. *izròditi*

izrodím od XVII w. (RJA: VIII 298), bułg. dial. (Kostur) *изрòда* (БЕР VI 301: s.v. родя; dawniej także *изрòдя се* ‘urodzić się’ – ПРОДД 177), maced. *изрòди* ‘narodzić, rodić (radzać)’ (PMJ I, 288) oraz wschodniosłowiańskich: strus. *изрòдитисѧ* od XII w.: **И ТО СЕЛО ЕСТЬ СВЯТЫХ ПРОРОКЪ, ТОУ Сѧ СОУТЬ ИЗРòДИЛИСѧ СВѧТИИ ПРОРОЦИ И ТО ИХЪ ЕСТЬ ОТУИНА** (СРЯ 6, 205, Срезневский I 1078), ros. dial. mosk. *изрòдѣть*: от сиволапых *изрòждены* (СРНГ : 12, 169), wołog. *изрòдѣть -рожѹ -рòдѧт*: Если *изрòдишь* надо за ребятами ухаживать... (Словарь Вологодских говоров 1987: III, 16).

Niektóre z czasowników z rdzeniem *rod- i pref. jъz- mają wyraźnie wyczuwalne już zabarwienie negatywne, co dowodzi przesunięcia semantycznego „in minus”: ‘urodzić (się) w stanie gorszym od poprzednika; charakteryzować się gorszymi, cechami osobniczymi’ > ‘wyrozić się, stać się zwyrodniałym (bezpłodnym, nie przynoszącym urodzaju)’. Dowody takiego przekształcenia znajdujemy w naszym materiale: słę. *izroditi* ‘spremeniti na slapše’ (SSKJ II 164: s.v.: *izrodítev*), *izroditi se* ‘wyrozić się; stać się jałowym, bezpłodnym’: drevo se je *izrodilo* (*Pleteršnik*: I, 341), rodila 10 otrok, pa se še *ni izrodila* (SSKJ II 163⁵), sch. *izròditi se* (dial. też *zrodit se*) ‘zdegenerować się’ (RJA VIII 298, też dial.: *Kranjčević* 2004: 264, np. krumpir mi *se izrodil*, *Mahulja* 2006: 394), o ziemi ‘stać się jałowym’, bułg. *изрòдѧ*: *изрòдѧвам* ‘moralnie spraczyć’: чумоносната сиромашия обезобразява телата, *изрòдѧва* душите (РБЕ VI 627), *изрòдѧ се* (por. też *изрòдѧдам се*) ‘wyradzać się, (za)tracić fizyczne lub moralne właściwości swego gatunku; dawać gorsze, słabsze pokolenie; o roślinach ‘wyradzać się, przynosić mniejsze plony’ (РБЕ VI 627, *Геров* II 297, БЕР VI 301), maced. *изрòди се* wyrozić się, zdegenerować się’ (PMJI 288), stros. *изрòжѧтисѧ* XVI w. ‘вырождатся, перерождаются’: **На мокрыхъ земляхъ... в овесъ изрòжѧтсѧ зерно пшеничное** (СРЯ 6, 205; XVI w.) ros. dial. *изрòдѣться* (: *изрòждѣться*) ‘wyrozić się, zmienić lub stracić cechy gatunkowe’: у нас пшеницу сеять нельзя, *изрòждается* (ok. Kaługi, Pskowa), совсем *изрòдился* овес (Wiatka); ‘stać się jałowym, przestać wydawać plon’: Землица наша *изрòдилась*, выпахали еѧ; także przenośnie w odniesieniu do kobiety w okresie przekwitania: Эта женщина *изрòдилась* (*Kaługa* 1849, СРНГ, 12, 168).

Interesujące jest to, że tożsame pod względem morfologicznym formacje czasownikowe, zdołały wyabstrahować zgoła biegunowe znaczenia: w opozycji bowiem do znakomicie zachowanej treści ‘tracić cechy gatunku, wyradzać się’: ‘tracić zdolności reprodukcyjne; stawać się jałowym’, istnieją także poświadczenia nacechowane dodatkowo ‘obrodzić (ponad miarę); przynieść doskonały plon’: pol. dial. dial. *zrodzić się* np.: pszeniczka mi się *zrodzila* (*Karłowicz* 1911: VI 413), bułg. dial. *изрòда се* ‘obrodzić obficie (urodzić w wielkiej ilości) = obfitować’ (БД IV 106), maced. *изрòди се* ‘obrodzić (obficie)’, ros. *изрòдѣться* o roślinach, zbożu ‘dać obfity plon, udać się’⁶(ib.).

Z kolei, przykład z rosyjskich gwar okolic Wiatki: хорошъ мальчикъ *изрòдился*, в солдатушки сгодился; czy *изрòдился* весь в отца nie mieści się w ramach opisywanych przeobrażeń semantycznych: brak tu punktu styczności z którymkolwiek ze wskazanych ogniw ewolucji znaczeniowej, czy to „in plus”, czy „in minus”. Konteksty użycia tychże czasowników wskazują bowiem wyraźnie na kontynuację linii cech, przekazanych przez „dawcę”, co w języku polskim jest realizowane przez czasownik z prefiksem w- > *wrodzić się* (w kogo) = ‘być dokładnie takim jak „pierwowzór”, być bardzo podobnym do kogoś’ (por. takie sformułowania jak: wykapany syn, kropka w kropkę = ros. *точь-в-точь*).

O znaczeniach nomen deverbale *jъzъrodъ (i deminutivach: *jъzъrodькъ, *jъzъrodьць; adi. *jъzъrodьтъ), nawiązujących bezpośrednio do podstawy czasownika *jъzъroditi, tj. ‘narodziny, urodziny’: ‘zaczątek, początek; powstanie’ oraz

neutralnym – ‘potomek, dziecko’ była już mowa wyżej. W dalszej części niniejszej analizy postaramy się dać odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie w materiale słowiańskim poświadczono są znaczenia dające się wyprowadzić z ogólniejszej treści ‘zmiana, przeobrażenie, przemiana’. Zebrane dane pozwalają udzielić odpowiedzi twierdzącej: istotnie, duża część znaczeń szczegółowych omawianego wyrazu niepodważalnie oscyluje wokół podstawowego ‘zmiana’. W diapazanie tego pola semantyczno-strukturalnego mieszczą się pojęcia ogólne (abstrakcyjne), jak np. ros. dial. (ok. Permu, z 1930 r.⁷) *узпод* ‘wyniszczenie, wytrzebienie, zagłada, wykorzenie’ (*CPHG*: 12, 168), sł. *izròd izròda* m. ‘das Ausgeartete = zwyrodniałość, wynaturzenie; coś zwyrodniałego, wynaturzonego’, ale przede wszystkim konkretne: sł. *izròd* ‘ein ausgearteter Mensch = wynaturzony człowiek, potwór’ (*Pleteršnik*: I 341; także *SSKJ*: II 163: np.: on je v družini *izrod*); także *izrojènc* ‘człowiek niemoralny, zwyrodnialec’, sch. *izrod* od XVI w. ‘wyrodek, degenerat’, np.: *izrod* od svojijeh starijeh; Da je pogrda, nepri lika (*RJA* IV 297), dial. czarnog. *uzpod* ‘odszczępieniec, wyrodek; potwór (człowiek z defektem fizycznym)’ (*Бујучић* 50), bułg. *узпод* ‘człowiek z defektem fizycznym; potwór, dziwoląg’ (*РБЕ* VI, 626, *Героџ* II 297), dial. rodopskie *узподок* ‘chuderlak, osoba niedożywiona; potwór, poczwara’ (*БД* V 174), w dial. także w innych odcieniach znaczeniowych wskazujących na defekty umysłu ‘człowiek niebezpieczny, okrutny, bez zasad moralnych; zwyrodnialec’ (w tym znaczeniu też daw. *узрòда*, por.: звер в челоџеческа маска, *узрòда* челоџеческа – l.c.), ‘człowiek nierozgarnięty, ograniczony umysłowo’, (*БЕР* VI 301⁸, *РБЕ* l.c.), maced. *узпод* ‘wyrodek, degenerat’ (*PMJ* I 288), ros. dial. *узрòдок* ‘wyrodek’ (*CPHG* l.c.: pskow., twer.). Z przedstawionych danych nie trudno wnioskować, że odnoszą się do istoty ludzkiej z jakimś defektem (fizycznym lub psychicznym). W tym wypadku rozwój semantyczny przybrał zdecydowanie tor „in minus”, możemy więc mówić o wyraźnej specjalizacji semantycznej rzeczownika, w przeciwieństwie do bazowego czasownika, gdzie w obrębie nawet tego samego języka poświadczono są treści o zabarwieniu tak pozytywnym, jak i negatywnym. Zwykle pejoratywne zabarwienie posiadają także przymiotnikowe kontynuanty **jъzrod-*: por. sł. *izròden* ‘abartig’ (*Pleteršnik*: Cig.), sch. *izrodan* ‘koji se izrodio’, w XVI w. ‘kojiga se mnogo izrodilo ili koji mnogo izrod’, ‘wyrodny (< gorszy od swych rodziców)’: ja *izrodni* i opaki sin (*RJA* l.c.), bułg. dial. *узроден* ‘charakteryzujący się gorszymi właściwościami (także umysłowymi) od swoich przodków’, także ‘zwyrodniały moralnie’ (*РБЕ*, *БЕР* l.c.), maced. *узроден* ‘wyrodzony, zwyrodniały, zdegenerowany’ (*PMJ*); stros. (wg odpisu XVI w.) **изрòдънын** przen. ‘wypaczony, skażony, nieprawdziwy’ (*Срезневский* I 1078), ros. dial. *узрòдный* хлеб ‘wyrodzone zboże’, pej. ‘ten, który się wyrodził’: *узрòдный сын* ‘syn marnotrawny’ (*Даль* II 73).

Na szczególną uwagę zasługują niektóre poświadczenia wschodniosłowiańskie, zwłaszcza z dialektów rosyjskich. W gwarach pskowskich poświadczony jest leksem *узрòдцы* pl. ‘rodzina, krewni’ i bliski semantycznie adi. *узрòдный* ‘nierodzony (przyrodni)’ (ib.), twer. ‘cioteczny, stryjeczny’ (*CPHG* 12, 168). O ile dla tych znaczeń możemy wyznaczyć punkt styczności z poprzednimi (mam tu na myśli stopniowe oddalanie się od wspólnego źródła), o tyle poświadczenia z północy Rosji, tj. z gwar archang. i wołogodz. ‘postawny, przystojny; ładny, urodziwy’: np. (w pieśni ludowej): Добры кони у нас не удалы, Молоды жены у нас не *узрòдныя* (*CPHG* c. 1.), Жена-то у него *узрòдная* была (*Словарь Вологодских говоров* 1987: III 16) oraz ukr. *зрідно* adv. ‘urodzajnie (obficie)’ (*Гринченко*: II, 183) dowodzą wyraźnie przeciwnego kierunku rozwoju. Tak jak to było w przypadku omówionych wcześniej kontynuantów czasownika **jъzroditi*, i tutaj mamy do czynienia z rozwojem enancjosemicznym. Zjawisko to

równie, a może nawet jeszcze bardziej wyraziście daje się zaobserwować na przykładzie innych formacji z rdzeniem *rod-, takich chociażby jak *urod-, czy *vyrod-, którym warto poświęcić osobną uwagę.

Reasumując, należy podkreślić, że niezwykle bogaty słowiański materiał językowy z rdzeniem *-rod-, przy dokładniejszym zbadaniu okazał się nie zawsze jednorodny semantycznie. Nawet bliższe przyjrzenie się niektórym prefigowanym jednostkom leksykalnym zawierającym ów pień, takim chociażby jak *jbz-rod-, czy *per-rod- (o zbliżonej, a nawet identycznej budowie strukturalnej) przysporzyło pewnych trudności interpretacyjnych. Wydaje się, że przynajmniej pewna część zaprezentowanych wyrazów naznaczona jest piętnem niezależnego rozwoju. Przeszkodą dla w pełni wiarygodnej diachronicznej konfrontacji semantyczno-strukturalnej były pewne czynniki obiektywne. Mam na myśli istotne różnice w proporcji pozyskanego ze źródeł historycznych materiału leksykalnego z jednej strony, z drugiej – pewne ograniczenia wynikające z dostępu do historycznej bazy danych poszczególnych języków. Czynniki te ograniczyły jednoznaczność konstatacji i stanęły na przeszkodzie w arbitralności ustaleń. Nie zawsze udało się autorytatywnie stwierdzić, czy konkretny leksem jest szczątkowo zachowanym archaizmem, zapożyczeniem, czy też powstałym już niezależnie lokalnym neologizmem (ewentualnie neosemantyzmem).

WYKAZ ŹRÓDEŁ

1. Bezlaj, E. *Etimološki slovar slovenskega jezika* [Bezlaj ES]. I–IV. Ljubljana, 1977–2005.
2. Boryś, W. *Słownik etymologiczny języka polskiego* [Boryś 2005]. Kraków, 2005.
3. *Historický slovník slovenského jazyka* [HSSJ]. I. Bratislava, 1991 nn.
4. Karłowicz, J. *Słownik gwar polskich*. I–VI. Kraków, 1900–1911.
5. Kranjčević, R. *Ričnik gäčke čakävščine. Kónopoljski divä*. Rijeka, 2004.
6. Kumaniecki, K. *Słownik łacińsko-polski*. Według słownika H.Mengego i H. Kopii opracował K. Kumaniecki. Warszawa, 1957.
7. Mahulja, I. *Rječnik omišaljskoga govora*. Rijeka–Omišalj, 2006.
8. Muka, E. *Słownik dolnosербске récy a jaje narécow*. I–II. Petrograd–Praha, 1921–28.
9. Pleteršnik, M. *Slovensko-nemški slovar*. I–II. Ljubljana, 1894–95.
10. Pokorny, J. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, I–II [Pokorny IEW]. Bern–München, 1959–69.
11. *Příruční slovník jazyka českého* [PSJČ]. I–VI. Praha, 1947–60.
12. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU* I–XXIII [RJA]. Zagreb, 1880–1976.
13. Sekulić, A. *Rječnik govora Bačkih Hrvata*. Zagreb, 2005.
14. *Słownik języka polskiego*, Wyd. M. Orgelbrandt. I–II (ciągła paginacja) [Słownik języka polskiego]. Wilno, 1861.
15. *Słownik języka polskiego* [SJP]. Karłowicz, J., Kryński, A., Niedźwiedzki, W. I–VIII. Warszawa, 1900–1953.
16. Sławski, F. *Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, cz. I*. [Sławski 1974]. In: *Słownik prasłowiański*. I. Kraków 1974.
17. *Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezia* [Plezia]. T. IV, PWN. Warszawa, 1974.
18. *Slovník slovenského jazyka*. I–VI [SSJ]. Ved. red. Peciar, Š. Bratislava, 1959–1968.
19. *Slovar slovenskega knjižnega jezika*. I–V. [SSKJ]. Ljubljana, 1970–91.
20. *Słownik staropolski*. I–XI [SSp], Red. nac. Urbańczyk, S. Warszawa, 1953–2003.
21. Sychta, B. *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, I–VII. Wrocław 1967–76.
22. Zeman, H. *Słownik górnołużycko-polski*. Warszawa, 1967.
23. *Българска диалектология* [БД], София.

24. *Български етимологичен речник*. I [БЕР]. София, 1971–[].
25. Варбот, Ж.Ж. *Древнерусское именное словообразование. Ретроспективная формальная характеристика*. Москва, 1969.
26. Вујићић, М. *Речник говора Проиђења (код Мојковца)*. Подгорица, 1995. (Посебна издања ЦАНУ књ.29, Одјелјење умјетности књ. 6).
27. Даль, В. *Толковый словарь живого великорусского языка* [Даль]. 3-е исправленное и значительно дополненное издание под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. I–IV. С.-Петербург–Москва, 1903–09.
28. Геров, Н. *Речник на българския език*. I–V; Дополнение. Пловдив, 1895–1908; репринт: София, 1975–78.
29. Желеховский, Е. *Малорусско-німецкий словарь*. I–II, Львів, 1886.
30. Златановић, М. *Речник говора јужне Србије (провинцијализми, дијалектизми, варваризми и др.)*. Врање, 1988.
31. *Речник на български език* [РБЕ]. I. София, 1977.
32. *Речник на македонскиот јазик* [РМЈ]. Ред. Б. Конески. I–III. Скопје, 1961–1966.
33. *Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век* [ПРОДД]. Под ред. на Ст. Илчев. София, 1974.
34. *Словарь вологодских говоров*, ред. Т.Г. Паникарская, т. I и сл., Вологда 1983.
35. *Словарь русского языка XI–XVII вв.* I [СРЯ]. Москва, 1975–[].
36. *Словарь русских народных говоров*. I [СРНГ]. Москва–Санкт-Петербург, 1965–[].
37. *Словарь современного русского литературного языка* [ССРЛЯ]. АН СССР. I–XVII. Москва–Ленинград, 1948–1965.
38. *Словарь украинского языка*, собранный редакцией журнала «Киевская старина». Ред. Б.Д. Гринченко [Гринченко]. I–IV, Киев, 1907–1909.
39. Срезневский И. И. *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*. I–III. Санкт-Петербург, 1893–1912.
40. Трубачев, О. Н. *История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя*. Москва, 1959.

Kopsavilkums

Rakstā no semantikas viedokļa tiek analizētas slāvu leksēmas ar sakni **rod-*, īpaši ievērojot atvasinājumus, kam pamatā ir pirmslāvu **jъzrod-*. Ir izmantoti mūsdienu valodu (literāro valodu un izlokšņu), kā arī valodu vēstures fakti. Uzmanība tiek pievērsta parādībai, kas valodniecībā dēvēta par enantiosemiju. Pirmslāvu vārdam **rodъ* (< ie. **ured^h- / *uerd^h-* ‘augt, celties’ : ‘tas, kas aug, kas izaudzis’) sākotnēji bija nozīme ‘raža, bagāta raža’ : ‘laimīga apstākļu sagādīšanās, laime, prosperita’. Laika gaitā nozīme attīstījās virzienā: ‘dzimta (< ‘kopēja izaugšana’ : ‘sabiedrība, kam pamatā ir radniecības saites’); ģimene; ‘radniecība’; ‘izcelšanās, dzimšana’. Diezgan labi ir apliecinātas nozīmes ‘kopējas iezīmes; iedzimtas iezīmes, rakstura īpašības’, kā arī ‘veids, šķira’, no citas puses – ‘dzimtas loceklis, ciltsbrālis’ : ‘bērns’. Salīdzināmai analīzei izmantoti arī dati par paralēlo latīņu vārdu *partūs, -ūs* ‘dzemdības; pēcnācējs’.

Atslēgavārdi: semantika, nozīmju attīstība, semantiskā grupa, enantiosemijs, slāvu valodas.

Summary

The aim of this article is to make a thorough study of the semasiological development of the words with Proto-Slavonic **rod-* stem in Slavonic languages. The work is based on both historical facts and the research into dialects. At the beginning Proto-Slavic **rod-* stem (< PIE. **ured^h- / *uerd^h-* ‘grow (up), strengthen, rise’ : ‘something that frequently expands, grows up and in the end shot up and developed’) was the straight equivalent to ‘harvest and abundant (especially crop)’ as well as ‘prosperity and a happy coincidence’.

In process of time the meaning evaluated towards the 'tribe' (< 'line of dynasty and the process of growing up together' and 'blood ties'; 'family; relationship' and 'conditions (ex.: <humble, low> birth).

It is a clearly supplied documentary evidence for a group of 'common features (that runs in the family)' and 'inclination and tendency to do something' and also 'type, sort or quality, brand and species'. Additionally there are some examples of the meaning of 'child' and 'descent'.

The analysis is based on the observations of the parallel to the Latin word *partūs* 'childbirth; kin, descent'. In the work there are also described Proto-Slavonic *rod'ajb̆ : *urod'ajb̆ : *porod'ajb̆. Not less attention is paid to the certain amount of forms of prefixing lexems *rod- stem with the meaning of 'embryo (egg)' > 'young creature' > 'child; young animal and nestling'.

Finally the author shows the examples of Proto-Slavonic continuants *jъzrod- and he attentively describes the semasiological development that is known and called enantiosemy in the science of language.

Keywords: semasiology/semantic, semasiological development, semantic group, enantiosemy, Slavonic languages.

Footnotes

- ¹ Por.: Вapбop 1969: 83–4. Sławski 1974: 87 zauważa: „Jak zwykle obok nominów agentis spotyka się też nomina actionis (> nomina acti). Należą tu np. *kračajb̆* : *kročajb̆* 'krok' : *kračati* 'stapać, kroczyć'; *obvyčajb̆* 'nawyk, zwyczaj, obyczaj' : obvyknōti 'przywyknąć, przyzwyczaić się'; (...) rod'ajb̆ 'rodzenie, poród; ród, potomstwo' : roditi 'rodzić'. W tej funkcji sufiks wykazał produktywność w serbsko-chorwackim i słoweńskim.
- ² Ciekawe, że w charakterze nomen actionis wyspecjalizował się w danej gwarze derywowany za pomocą omawianego już suf. *-jajb̆ wyraz *pōrođaj* 'proces kojim završava trudnoća kad zreli plod izlazi iz utrobe i počinaje svoj životni ranjski tijek': Matika je imala teški pōrođaj.
- ³ Borys 2005: 352 podaje: „**naród** od XV w. 'nacja', 'lud', stpol. 'plemie, lud', 'pokolenie', 'ród, rodzina, krewni', 'potomstwo, dzieci', daw. 'ród', 'rodzaj', 'rodzina', 'pleć', 'genealogia', dial. 'ludzie'; stp. XV w. też naroda 'ród, potomstwo'. Ogsł.: stcz. *národ* 'wszystko, co się narodziło, co obrodziło, stworzenia, płody, plony; gatunek zwierząt, ród ludzki, pleć; naród, narodowość, plemie; krewni, pokolenie, potomstwo', cz. 'naród', pot. 'lud, ludzie', r. *naród* 'naród; lud; ludzie', scs. narodŭ 'naród; lud, ludzie, gromada'. Psł. **narodŭ* 'to, co się narodziło, urodziło, obrodziło', rzecz. odczas. (nazwa czynności wtórnie skonkretyzowana) od psł. przedrostkowego **na-roditi* 'urodzić', p. *narodzić* (o pochodzeniu zob. rodzic). Pierwotne znaczenie 'narodzenie', stąd 'to, co się narodziło, urodziło', z czego dalsze znaczenia.
- ⁴ Por. jednak dawniejsze nacechowane semantycznie 'odrodzić, odmłodzić, odświeżyć, ożywić, orzeźwić' (SJP: VIII, 610) – wskazującym pośrednio na znaczenie 'uczynić młodszy, świeższym, znacznie żywszym' w stosunku do stanu poprzedniego.
- ⁵ Ogniu pośrednie 'przerodzić się, przeobrazić się w coś', pozbawione wszakże ładunku emocjonalnego, ilustruje przykład *jezik se je v razna narečja izrodil* = die Sprache hat sich zu verschiedenen Mundarten umgestaltet (Pleteršnik l.c.).
- ⁶ Paralelny przykład rozwoju semantycznego znajdujemy w niektórych kontynuatach psł. **per-rod*, por. w rosyjskim materiale gwarowym opozycyjne znaczenia verbum *перерожда́ться* 'давать урожай в избытке' obok 'перестать произрастать', 'истощаться (о земле)', z okolic Świerdłowska *перерожда́ться* 'вымирать, о людях': *старый народ перерождается* (СРНГ: 26, 208), pol. *przeradzać się*, 'wyradzać się, przemieniać się kolejną pokoleń, tracąc jedne cechy a przybierając drugie', *przerodzić się* 'przestać być płodnym' (Słownik języka polskiego 1861: 1255). Także nomen deverbale: *неперод* 'обильный, очень большой урожай': У

нас, благодаря бога, перерод во всём, будем сытыя w orozucji do ‘неурожай вследствие дождливой погоды’, czy też ‘ухудшение сорта, породы; утрата прежних ценных свойств, высоких качеств’ w odniesieniu do ziarna, które straciło swe właściwości, wyjąłowanej ziemi, zwierząt, które utraciły cechy rodziców – СРНГ: 26, 206.

⁷ Warto zaznaczyć, że w wydanym niedawno dwutomowym słowniku dialektalnym Словарь пермских говоров (I–II, Пермь 2000 – 2002) wyraz ten nie jest już notowany.

⁸ Por. także z negatywną konotacją: bułg. dial. *úzpod* ‘chwast wśród zboża’, *uzróduu* ‘zwierzę, które zatraciło cechy gatunku, wyrodziło się’, *ызродък* ‘małe jajko’ (БЕР l.c. (БЕР o.c.), słе. *izródek*, *-dka* ‘to, co się wyrodziło’: *rastlinski*, *živalski izrodek* (SSKJ II 163) i inne.

Субстратные балтизмы в диалектной лексике русского языка

Substrāta baltismi krievu valodas izlokšņu leksikā

*Substratbaltismen in der Mundartlexik
der russischen Sprache*

Юрате София Лаучюте

Klaipėdas Universitāte,

Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, 92294 LT

j.lauciute@gmail.com

Статья посвящена проблемам балтского субстрата в лексике говоров русского языка. Новейшие исследования показывают, что балтский субстрат оставил свои следы не только в названиях рек и озер, но и в апеллятивной лексике, хотя почти все подобные слова обнаруживаются в ограниченно употребляемой диалектной лексике, лишь изредка проникая в общерусский язык. Предметом рассмотрения в данной статье являются диалектные слова, содержащие корень *дрѣб-/-дряб-* (*дрѣбь* „болото, трясина“, *дрѣби* „густой ельник“, *дрѣб* „болотистая местность, поросшая лесом или кустарником“, *дряб* „местность, поросшая кустарником“, *дрѣбѣть* „дрѣбезжать“ и т. п). На фоне сравнения с соответствующей лексикой балтийских языков дан этимолого-семантический и сопоставительный анализ диалектных слов русского языка. Можно утверждать с высокой степенью вероятности, что образования с корнем *dreб-* в русских говорах представляют собой реликт балтского субстрата (ср. *дрѣбусина* „трясина, болото“).

Ключевые слова: субстратная лексика, балтизмы, русский диалектный язык.

Субстратом в лингвистике принято называть такую форму языкового взаимодействия, когда элементы одного языка заимствуются другим языком не традиционным путем пограничных или культурных контактов, а путем поглощения этноса или его части в результате миграций племен и/или народов. Субстратные слова, таким образом, являются своеобразными аборигенами в том языке, который включил их в состав своего словаря. Они обычно древнее традиционных заимствований и труднее поддаются вычленению из общего исконного словарного фонда и обоснованию их иноязычного - субстратного - происхождения.

Археологи и лингвисты, исследуя доисторическое прошлое балтийских и славянских народов, а также соответствующие пласты лексики их языков, уверенно говорят о действии балтского субстрата на территории всей Белоруссии, Восточной и Северо-Восточной Польши, Северной Украины, а также Западной России. Однако удивляет тот факт, что следы этого субстрата сравнительно легко обнаруживаются в апеллятивной лексике белорусского, польского и украинского

языков (ср. *Laučiūtē* 2003, р. 21 – 24; 2005, р. 161–168 и др.), но трудно – в русском, хотя гидронимов балтийского происхождения в бассейне Оки насчитывают не меньше, чем в Верхнем Поднепровье или в верховьях Западной Двины (Даугавы). О балтском племени Галиндов – Голяди, еще в XI–XII веках воевавшим с московскими князьями, неоднократно писали русские летописи. Не могли же предки русских, осваивая северо-запад и центр России, перенимая у местного балтского населения многие названия рек и озер, не заимствовать что-то из апеллятивной лексики?!.

Новейшие исследования показывают, что балтский субстрат оставил свои следы и в апеллятивной лексике, но почти все они «утонули» в ограниченно употребляемой диалектной лексике, лишь изредка проникая в общерусский язык (*янтарь, деготь, скирда, ковиш, ендова, кувши, пелька* и др.). Поэтому изучение диалектной лексики было и остается первостепенной задачей для историков языка.

На особую ценность диалектного материала при изучении истории взаимоотношений балтийских и славянских языков обратил внимание Б. А. Ларин в предисловии к русскому переводу “Этимологического словаря русского языка” М. Фасмера, но даже несколько десятков лет спустя после этого продолжают звучать высказывания, что богатейший материал, содержащийся в новейших академических и диалектных словарях балтийских и славянских языков, таких, как академический многотомный словарь литовского языка „Lietuvių kalbos žodynas“, „Словарь русских народных говоров” (СРНГ), “Псковский областной словарь” и мн. др., «очень медленно входит в научный обиход» (Откупщиков 2001, с. 307) и что „не словарь Траутмана, в свое время явившийся важным событием, а богатейший материал фундаментальных диалектных словарей должен лечь в основу современных исследований в области балто-славянских языковых отношений” (Откупщиков 2001, с. 311).

В ряде своих работ Ю. Откупщиков уделяет много внимания таким случаям, когда из-за недоучета диалектной лексики литовского или латышского языков страдает этимология славянских слов. Например, М. Фасмер, этимологизируя рус. *стебель*, др.-р. *стебль* «стебель, ствол» в качестве балтийских соответствий привел лит. *stibis* «*membrum virile*» и лтш. *stiba* «палка, прут» (ЭСРЯ т. III, с. 750), хотя с литовским данное русское слово расходится по семантике, а с латышским по форме. Между тем, как справедливо заметил Ю. Откупщиков, рус. *стебель* гораздо ближе к таким балтийским словам, как лтш. *stibis* «сухой пруттик», *stebliis* «ствол дерева», лит. *stiblis* «стебель».

Подобного рода уточнений в своих исследованиях Ю. Откупщиков привел не один десяток, и поэтому у него есть все основания утверждать, что «сопоставление диалектного материала балтийских и славянских языков, не ставшего еще достоянием этимологических словарей, позволяет вскрыть целые слои лексики – как общего происхождения, так и заимствованной из одних языков в другие» (Откупщиков 2001, с. 307 – 308).

В подтверждение данного тезиса Ю. Откупщиков приводит около 20 диалектных слов русского языка, которые, по его мнению, являются заимствованиями из балтийских (в основном – литовского) языков и которые либо вовсе не отражены в составленном нами „Словаре балтизмов...” в славянских языках, либо были включены без учета русской диалектной лексики, например: лит. *virėjas*, лтш. *virejs* „повар” → твер., псков. *вырэй* „знахарь, колдун”; лит. *grynoji (savaitė)*

→ смол. *гриняя* (неделя) „неделя перед постом в июле месяце“; лит. *dūndyti* „жужжать (о пчеле)“ → новгор. *дундѣть* „пищать (о комаре)“; ср. в переносном значении лит. *dūndėti* „болтать“ → новгор. *дундѣть* „однообразно и надоедливо говорить“. В „Словаре балтизмов...“ Ю. Лаучюте приведен лишь польский глагол *dundzić* „раздаваться (о топоте)“, заимствованный из лит. *dūndėti* „грохотать“ (СБ 1982, с. 76); лит. *kója* „нога“ → рус. говоры Коми *коя* “голень” (Откупщиков 2001, с. 310) и т.д.

С учетом теоретических предпосылок, высказанных вышеупомянутыми лингвистами, и при пристальном изучении диалектной лексики русского языка внимание привлекает семья слов, содержащая корень *дрѣб-/дряб-*, например, *дрѣбь* „болото, трясины“, отмеченное в псковских, архангельских, олонекских и других говорах европейского Севера (СРНГ т. 8, с. 225). В новгородских говорах зафиксированы варианты *дрѣбу* „густой ельник“, *дрѣб* „болотистая местность, поросшая лесом или кустарником“, а также *дряб* „местность, поросшая кустарником“ (тверские говоры). К этой семье слов, очевидно, принадлежит и глагол *дрѣбѣть* «дрѣбѣжать» (ивановские говоры). Общими, объединяющими признаками этих слов являются: а) огласовка корня, б) сема *неустойчивости, дрожания* (о почве, о звуке), которая, расширяясь, охватывает и характер растительности болотистой (дрожащей) почвы, в) узкий ареал употребления этих слов: западные, северо-западные и часть центральных говоров европейской части России.

В балтийских языках засвидетельствованы фонетически и семантически близкие глаголы: лит. *drėbėti* = лтш. *drėbēt* «дрожать, трястись», др.-прус. *dirbisnan* (исконной считается форма **dribisnan* „zittern“) и производные лит. прилаг. *drabūs* „дрожащий, трясущийся“ (LKŽ vol. II, p. 623), *drėbūs* „тот, кто сразу дрожит; трясущийся“, *drėbinti* caus. *drėbēt*; *drėbkus* «кто постоянно трясется, трус» (LKŽ t. II, p. 669), *drėbukas* „тот, кто постоянно дрожит“, *drėbulė* „дерево с дрожащими листьями, осина“, „студень“; *drėbutiena* „студень“ (LKŽ vol. II, p. 674, 675) и др., лтш. *dreboņa, drebuļi* „озноб, трясучка“ (LLKŽ 2003, p. 173).

По стройной схеме, приведенной автором „Этимологического словаря латышского языка“ К. Карулисом, лтш. *drėbēt*, как и его соответствия в других балтийских языках, является итеративом от лтш. **drebt* (*nodrebt, sadrebt* „?“ – без значения), которое, в свою очередь, восходит к и.-е. **der-* „драть, рвать, расщеплять“ и является родственным рус. диал. *дробѣть, дробѣть* „пугаться, страшиться“ (LEV I. sēj., 229 lpp.).

В „Этимологическом словаре литовского языка“ Э. Френкеля приводится мнение К. Буги, согласно которому исследуемые балтийские глаголы являются родственными тому же рус. диал. *дробѣть* „робѣть, смущаться, стесняться, *schüchtern sein*“ (между прочим, этот глагол засвидетельствован только в новгородских говорах, ср.: *Būga* vol. I, p. 437), *дробкой, дробной* „несмелый, стеснительный; *schüchtern, feige*“, которые, в свою очередь, возводятся к рус. *дробь, дробный, подробный*. Правдоподобным Э. Френкелю кажется также предположение Махека, что в семью родственных слов следует включить и ч. *drobí* в высказывании *zima mnie drobí* „я дрожу от холода“ (LEW Bd. I., S. 102 – 103). Однако, как справедливо отмечает Э. Якулис, рус. диал. *дробѣть* и лит. *drėbėti*, лтш. *drėbēt* можно связывать лишь этимологически, в то время как вокализм корня и структура презенса демонстрируют значительные расхождения (хотя автор не обходит вниманием наличие в русских говорах и слова *дрѣбь* „болото, трясины“). Поэтому он склонен

реконструировать балто-славянский глагол **dreb-/*drob-/*drib-* „дрожать, трястись, падать“, ср. лит. *drėbti* „бросать что-то мягкое, жидкое (например, грязь)“, рус. (слав.) *дробить* „разламывать, измельчать“, гот. *(ga)draban* „долбить, выдалбливать, щипать“ < ие. **dhrebh-* „шлепать (шлепнуть), трясти (падать)“ (*Jakulis* 2004, p. 120).

Славянские слова, содержащие корень *drob-*, в отличие от группы слов с корневым *dreb-/dr'ab-*, встречаются на более широком ареале (кроме глагола *дробеть*) и имеют другую семантическую характеристику. На первый план выдвигается *несмелость, стеснительность, мелкость / дробность* объема или размера. Исключением является лишь пример из чешского языка (*drobí*). Что же касается самого глагола *дробеть*, не исключено, что на его семантику повлияла аналогия с глаголом *робеть* „стесняться“.

Возникают, по крайней мере, два вопроса: 1. В каких отношениях находятся эти две группы слов в отдельно взятых балтийских и славянских языках? 2. Что объединяет славянские слова с балтийскими – исконное родство или заимствование?

Можно составлять разные этимолого-семантические схемы, объединяющие вышеозначенные группы балтийских и славянских слов в одну семью, но нельзя не заметить, что для балтийских языков характерной является группа слов, содержащая корень **dreb(ē)-* и означающая *дрожание*, а в славянских языках развитие получили слова от корня *дроб-* с общим значением чего-то *раздробленного, измельченного*. Значение *несмелости, стеснительности* в русском языке могло появиться по аналогии со словами *робеть, робкий*, а единственное „дрожашее“ слово в литовском языке, содержащее в корне – *a-* (*drabūs*), является результатом весьма распространенного в балтийских языках позиционного чередования *e : a*, ср.: *drevė* „дупло“ : *dravė* „то же“ и др.

С другой стороны, сомнения в исконном родстве глаголов со значением „дрожать“ (лит. *drėbėti*, лтш. *drėbēt* и рус. диал. *дробеть*) вызывает их фонетическое тождество, не характерное для исконно родственных слов. Эти сомнения подкрепляются ареальными особенностями русских слов, явно привязанных к ареалу, характерному для зоны действия балтского субстрата. Доказательством же иноязычного – балтийского – происхождения обсуждаемой группы слов в русском языке может служить архангельское диалектное слово *дрѣб-ус-ина* „трясина, болото“ (*СРНГ* т. 8, с. 179), в середине которого „навек“ застряло окончание *-us-* от балтийского прилагательного **drebūs* (= лит. *drebus*), выдающее истинное происхождение всей русской диалектной семьи «трясущихся» слов. Семантической моделью данного слова в русском языке могла послужить пара *трясти(сь) – трясина*. Соответствующая модель образования названий трясин, болот существует и в балтийских языках, ср. лит. *liulėti* „колыхаться, качаться“: *liulynas* „зыбун, трясина“. В данном контексте становится более понятным и происхождение слов *дрѣбь* «болото, трясина», *дрѣбь* «болотистая местность, поросшая лесом или кустарником», соотносимых с заимствованным глаголом *дробеть* „трястись, дрожать“, как, например, лит. *drėbėti*: **drebė, burgėti* „бурлить, бить ключом“: *burgė* „топкая грязь, топь“ и т. п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Būga, K. *Rinkiniai raštai*. Vol. I – III. Vilnius, 1958 –1961.
2. Fraenkel, E. *Litauisches etymologisches Wörterbuch*. [LEW]. Heidelberg, Bd. 1 – 2. Göttingen,. 1962 – 1965.
3. Jakulis, E. *Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai*. Vilniaus un-to leidykla, 2004.
4. Karulis, K. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca* [LEV]. Sēj. 1 – 2. Rīga, 1992.
5. *Latvių-lietuvių kalbų žodynas. Latviešu-lietuvių vārdnīca* [LLK]. Kaunas, 2003.
6. Laučiūtė, J. Vakarų baltų kilmės žodžiai Polesės slavų tarmėse. Iš: *Tiltai. Priedas*. Nr. 14. Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai (4). Klaipėda, 2003, p. 21 –24.
7. Laučiūtė, J. S. *Baltų substratas rytų slavų kalbose*. Iš: „*Baltistika*“ VI Priedas. Vilnius, 2005, p. 161–168.
8. *Lietuvių kalbos žodynas* [LKŽ] Vol. II. Vilnius, 1969.
9. Лаучюте Ю. А. *Словарь балтизмов в славянских языках* [СБ]. Ленинград, 1982.
10. Откупщиков Ю. В. Балто-славянская проблема (лексический материал и методы исследования). Iš: *Opera philologica minora* (Античная литература. Языкознание). С-Пб., 2001, с. 306 – 319.
11. *Словарь русских народных говоров* [СРНГ]. М., Л., 1964; СПб., 1997.
12. Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка* [ЭСРЯ]. Т. I – IV. М., 1964 – 1973.

Сокращения

диал. – диалектный
др.-прус. – древнепрусский
ие. – индоевропейский
лит. – литовский
лтш. – латышский
новгор – новгородский
прилаг. – прилагательное
псков. – псковский
рус. – русский
смол. – смоленский
твер. – тверской
ч. – чешский

Kopsavilkums

Rakstā tiek aplūkoti jautājumi, kas ir saistīti ar baltu substrāta „pēdām“ krievu izlokšņu leksikā. Jaunākie pētījumi liecina, ka substrāta „pēdas“ ir vērojamas ne tikai upju un ezeru nosaukumos, bet arī apelatīvos, kaut gan gandrīz visi vārdi sastopami galvenokārt izlokšnēs un tikai dažī no tiem ieviesās vispārlietotā krievu valodā. Rakstā tiek iztirzāti vārdi ar sakni *дрѣб-/дряб-* (*дрѣбь* „purvs, slīkšņa“, *дрѣбу* „biezs eglājs“, *дрѣб* „purvainis apvidus, kur aug mežs vai krūmi“, *дряб* „apvidus, kur aug krūmi“, *дрѣбѣть* „šķindēt“ utt.). Krievu izlokšņu leksika tiek analizēta etimoloģiski semantiskā un sastātāmā aspektā, salīdzinot ar baltu valodu attiecīgajiem vārdiem. Var apgalvot, ka leksiskie elementi ar sakni *дрѣб-* ir baltu substrāta relikts (sal. *дрѣбусина* „slīkšņa, purvs“)

Atslēgvārdi: substrāta vārdi, baltismi, krievu izlokšnes.

Zusammenfassung

Das Ziel dieses Artikels ist die Feststellung derjenigen Schicht der russischen Sprache, in der sich die ältesten Lehnwörter der Substratherkunft aus den baltischen Sprachen befinden.

Archäologen und Linguisten stellen argumentiert die Einwirkung des baltischen Substrats auf einen großen Teil der Ostslawen sowie auf Nordostpolen fest. Die Spuren dieses Substrats sind reichlich bei den Gattungswörtern der weißrussischen, polnischen und ukrainischen Sprache vertreten, aber sie finden kaum Ausdruck in der russischen Standardsprache.

Die neuesten Untersuchungen der Lexik der russischen Sprache haben gezeigt, dass das Substrat – sowohl der ugro-finnischen als auch der baltischen Sprachen – seine Spuren in der Lexik der russischen Sprache hinterlassen hat, aber fast die ganze Substratlexik ist in die Mundartenlexik versunken. Nur selten kommt das Substrat in der Literatursprache vor.

Zum Untersuchungsobjekt wurden russische Wörter mit der Wurzel *derb-/ darb-* sowie ihre Ableitungen (*дребь* „Moor, Sumpf“, *дрéби* „dichter Tannenwald“, *дрéб* „ein vermooster, mit Wald und Gebüsch bewachsener Ort“, *дрéбéть* „zittern“, *дрóбеть* „schüchtern sein“, *дрóбкой*, *дрóбной* „schüchtern, feige“) und ihre verwandten Wörter (*дрóбь*, *дрóбный*, *подробный* u.a.) in den Mundarten des zentralen und nordwestlichen Teils des europäischen Russlands herangezogen. Beim Vergleich mit der entsprechenden Lexik der baltischen Sprachen versucht man herauszufinden, welche von denen der verwandten Lexik der baltischen und slawischen Sprachen zugeordnet werden, und welche als Lehnwörter der Substratherkunft aus den baltischen Sprachen betrachtet werden können.

Beim Vergleich von phonetischen, semantischen und linguo-geographischen Besonderheiten dieser Wörter wird festgestellt, dass die Bildungen der Wurzel *dreb-* in der russischen Sprache höchstwahrscheinlich das Relikt des baltischen Substrats ist.

Schlüsselworte: Substratlexik, Baltismen, russische Mundarten.

Рефлексы ие.* \bar{j} в структуре корня в германских и балтийских языках и их возможная связь с другими фонологическими и фonomорфологическими процессами

*Garā zilbiskā līdzskaņa ie. * \bar{j} refleksi ģermāņu un baltu valodās un to iespējamā saikne ar citiem fonolģiskiem un fonomorfolģiskiem procesiem*

Reflexe des langen silbenbildenden ie. \bar{j} im Germanischen und Baltischen und deren Beziehung zu anderen phonologischen und phonomorphologischen Prozessen*

Силвия Пavidис

Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte,
Visvalža 4a, Rīga, LV-1050
silvija.pavidis@lu.lv

Настоящая статья посвящена проблеме выявления адекватных рефлексов долгих индоевропейских (далее в тексте ие.) ие. * \bar{j} слогообразующих в германских, балтийских и славянских языках, установлению природы этих фонем, а также выявлению возможной связи с другими фонологическими и фonomорфологическими процессами.

Ключевые слова: индоевропейские долгие и краткие слогообразующие * \bar{j} , рефлексы долгих слогообразующих * \bar{j} , ступени аблаута, германские языки, балтийские языки.

„Получив определенную сумму сведений относительно условий всякого рода, в которых произошло известное изменение, попытаемся дать такое объяснение, где нашли бы свое место все представленные факты. В данном случае теория явится совокупностью реалистических гипотез. ... Она существует для того, чтобы сопоставлять с нею данные, которые либо без труда найдут себе место в ней, либо потребуют ее пересмотра или замены“ (Мартине 1960, с. 54).

Теория индоевропейских (далее в тексте ие.) слогообразующих, основы которой были заложены еще в 1876 году младограмматиками Г. Остхофом и К. Бругманом, и сегодня является все еще недостаточно разработанной. К сожалению, в самых последних работах отсутствуют новые исследования по этой важной проблеме сравнительно-исторического языкознания (ср.: *Schmitt-Brandt* 1998, *Meier-Brügge* 2003).

Среди вопросов, на которые, на наш взгляд, нет убедительных ответов, следует назвать в первую очередь следующие:

- какова природа ие. слогообразующих;
- действительно ли существовали два ряда ие. слогообразующих: краткие и долгие;
- каковы рефлексы кратких ие. слогообразующих в отдельных ие. языках;
- каковы рефлексы долгих ие. слогообразующих в отдельных ие. языках;
- в каких временных срезах существовали ие. краткие и долгие слогообразующие, и связаны ли они между собой;
- какая связь существует между рефлексами кратких и долгих ие. слогообразующих и фонологическими или фономорфологическими процессами в отдельных ие. языках, в частности, в германских и балтийских;
- какова роль ие. слогообразующих в структуре ие. корня в рамках теории ие. корня и ие. аблаута;
- какова роль рефлексов ие. слогообразующих в структуре корня в отдельных ие. языках, в том числе в германских и балтийских.

Цель настоящей статьи – рассмотрение комплекса вопросов, связанных с ие. долгими слогообразующими \tilde{r} и их рефлексами в германских и балтийских языках. Исследование проводилось на материале фономорфологических вариантов ие. ** \tilde{r} -t-* „гнуть, крутить, вертеть», в которых *-t-* обозначает смычные в роли детерминативов.

Б. Серебренников так характеризует ситуацию в диахроническом языкознании в XX веке: *«Учитывая сложность процессов, происходящих в языке, и многообразие причин, вызывающих языковые изменения, некоторые лингвисты склонны отрицать вообще наличие в этой области каких-либо закономерностей»* (Серебренников 1974, с. 4). С этим можно частично согласиться, ведь по разным причинам в языке не все поддается объяснению. Однако наука движется вперед, появляются новые подходы к решению задач, которые прежде казались неразрешимыми или вообще не воспринимались как проблема. В полной мере это относится и к фономорфологии, возможности которой далеко еще не исчерпаны. Особенно сложно выявить закономерности фонетических изменений, а также их причины. Именно теория ие. слогообразующих может быть плодотворно разработана на стыке фонологии и фономорфологии. Определенным подспорьем в решении этой задачи может стать системный подход, который, как справедливо отмечал еще в 1929 г. Н. Трубецкой предполагает, что *«каждое изменение звуков, производящее сдвиги в фонологической системе, влечет за собой другое изменение звуков, в результате чего соответственно перестраивается и упорядочивается вся система»* (Трубецкой 1960, с. 65).

Опираясь на принцип полезного противопоставления (Журавлев 1986, с. 126), обеспечивающий существование различных фонем, входящих в коррелятивную пару и находящихся в оппозиции (в нашем случае, \tilde{r} и \tilde{r}), а также имея в виду значительные расхождения в определении рефлексов кратких и долгих слогообразующих в разных языках и наличие вследствие этого большой вариативности рефлексов, мы пришли к выводу, что рефлексы кратких и долгих слогообразующих не могли совпасть в одной фонеме. Существующий подход к определению этих

рефлексов, намеченный еще в XIX столетии, согласно которому рефлексы кратких слогаобразующих в балтийских языках отличались от рефлексов долгих только интонацией, при общем гласном i или u , нами не может быть поддержан, т.к. мы исходим из предположения, что интонация как дифференциальный признак не может считаться достаточно надежным критерием такого противопоставления. Об этом же свидетельствуют и многочисленные факты метатонии, аттракции ударения, о которых писали, например, К. Буга, Я. Эндзелин, З. Зинкявичюс, Ю.С. Степанов, В. Иллич-Свитыч и др., а В. А. Дыбо (1981, с. 263) прямо указывает на гипотетичность реконструкции балто-славянских акцентов. Нельзя также забывать и о том, что первые латышские тексты были записаны иностранцами в XVI веке, а первые литовские и латышские грамматики и словари не содержали никаких указаний на интонации (ср.: *Millenbachs* 1923–1932; *Кузьменко* 1991; *Szemerényi* 1970 и др.). Кроме того, отражение балтийских интонаций и сегодня значительно колеблется в разных диалектах как литовского, так и латышского языка, а стандартный литовский и латышский языки являются результатом целенаправленной нормализации и унификации в XIX–XX вв.

Германские памятники письменности также не дают сведений об интонациях. Единственным исключением являются тексты Ноткера (X в.), который употреблял знаки для обозначения двух интонаций. Однако многие исследователи полагают, что Ноткер слепо следовал латинским образцам и что за знаками $\hat{}$ «циркумфлекс» и $\acute{}$ «акут» не кроются никакие реальные интонации. Впрочем, В.И. Жирмунский считает, что «*точная акцентуация Ноткера является важным подспорьем при установлении долготы и краткости древневерхненемецких гласных*» (*Жирмунский* 1965, с. 113).

Отмечая всю сложность вопроса, необходимо все же подчеркнуть, что существование германских интонаций не отрицается. Так, например, есть указания на то, что в германском различались двухморовые гласные с интонацией акута (*mit gestossenem Ton*) и трехморовые – с интонацией циркумфлекса (*mit geschleiftem Ton*), а различие между этими интонациями сохранялось и в прагерманском (*Dieter*, S. 1, 5). Этого же мнения придерживался и К. Бругман (1904, S. 64). Вопросы германской акцентуации были также предметом исследования С. Д. Кацнельсона (1966) и Ю.К. Кузьменко (1991).

Если посмотреть на те рефлексы, которые постулируются для кратких и долгих слогаобразующих (так как они совпали по мнению многих ученых), то обращает на себя внимание такой факт: очень часто в качестве рефлекса дается последовательность «бывший слогаобразующий + гласный» или «гласный + бывший слогаобразующий». Причем в качестве гласного, появляющегося после бывшего слогаобразующего, чаще всего отмечается почему-то a , иногда o (ср.: *Brugmann*, S. 98, 99). Эти постулируемые рефлексы, которые, впрочем, следует воспринимать, по мнению многих исследователей, как единые для долгих и кратких ие. слогаобразующих, отражены нами в сводной таблице; причем рефлексы долгого слогового плавного ие. * \bar{f} различают только К. Бругман и О. Семереньи:

		др.-инд.	др.-гр.	лат.	кельт.	герм.	балт.	слав.
Соссюр	перед согл.		ωρ/ρω	ar/rā		ur/ar	īr/ar	ri/rǔ
	перед гласными	īr/ur	αρ/ορ	ar/or		гот. aūr	īr	ór
Бругман	ǰ		αρ/ρα	or	ri	ur/ru	iř	
	ǰ̄		ρω/ορ	rā/ar	rā/ar	ur/rū		
Хирт		r	a	or ur	ri	ur or	iř	rǔ rǐ
Фортунагов		īr ur	a	a		ur	īr (ur)	рь
Барроу ¹		ǰ	αρ (ρα)			ur	īr	
Гухман		ǰ		or		ur	iř uř	рь
Семереньи	ǰ	ǰ	ρα /αρ	or/ur	ri/ar	ur	īr	īr/ūr
	ǰ̄	īr/ūr	ρá/ αρ	rā	rā	ur		īr
Савченко		ǰ	ρα /αρ	or		гот. air	īr/ūr	рь/рь
Гамкрелидзе, Иванов		ǰ	ρα /αρ	or/ur	ri/ar	ur	īr/ur	īr/ūr

Из этой таблицы видно, что четкие рефлексы долгих слогообразующих даже, если они и выделяются, определить невозможно. К. Бругман (1904, S. 131), один из немногих, кто пытается различать рефлексы кратких и долгих ие. слогообразующих, отмечает двоякое отражение ǰ̄ в некоторых ие. языках: «*Das auffallende ist hierbei die Doppelheit im Griech. und Germ. Eine befriedigende Deutung für sie ist noch nicht gefunden, wenn auch klar ist, dass in manchen Fällen die Stellung, die der Vollstufenvokal in den etymologisch zugehörigen Formen hatte, für die Stellung des aus r, l̄ entwickelten Vokals massgebend wurde...*». К. Бругман (1904, S. 132) убежден, что прежние долгие ие. слогообразующие нигде более не появляются в неизменном виде, и пытается дать этому феномену свое объяснение: «*Eventuell ist eine doppelte Vertretung anzuerkennen im Griech. (ρω/ορ), Ital. (rā/ar), Kelt. (rā/ar) und Germ. (ur/rū), der, wie der der doppelten Vertretung der entsprechenden Kürzen, eine uridg. Aussprachverschiedenheit zu Grunde läge*». О. Семереньи (Szemerényi 1970, S. 43) также признавал существование ие.* ǰ̄: «*Deshalb können wir lange silbische Nasale und Liquiden ansetzen...*».

Некоторыми лингвистами делаются попытки определить хронологический срез, в котором могли развиваться эти загадочные ие. фонемы. Так, например, авторы монументального исследования об индоевропейском и индоевропейцах Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов (1984, с. 204) считают: «*...возникновение долгих слоговых*

сонантов, как и возникновение долгих гласных, выступавших в позиции перед не-слововым 'ларингальным', нужно отнести к сравнительно позднему периоду в истории развития отдельных индоевропейских диалектов. Это же проявляется и в факте неединообразного отражения вокализации долгих слоговых сонантов в отдельных диалектных группах».

Вариативность вокализации в германских языках отмечает и М. М. Гухман (1962, с. 259): «наряду с огласовкой и, обычной и распространенной в продуктивных образованиях с нулевой ступенью перед r, l, t, n + согласный, а также перед чистыми сонорными, имеется ряд форм, в которых перед сонорным гласный полностью исчез», а «закономерности германских чередований этого типа связаны в большинстве случаев с аналогичными явлениями варьирования корневой морфемы в других индоевропейских языках».

Эта двоякая рефлексация, как уже отмечалось выше, трактуется неоднозначно: она принимается то за метатезу плавного, то за инфикс. Так поступает, например, Е. Курилович (*Kuryłowicz* 1956, с. 181), выделяя тип TRET-, в котором наличие R он объясняет именно таким образом.

Я. Эндзелин совершенно правильно говорил, что «общих причин всех фонетических изменений не имеется, но что в каждом конкретном случае приходится искать причины изменений» (*Endzelīns* 1974, 32. lpp.). Исходя из зафиксированного многообразия рефлексов слогообразующих, о котором мы уже говорили, мы ни в коем случае не можем согласиться с тем, что рефлексы ие. кратких и долгих слогообразующих совпали, что эти рефлексы могут иметь двоякую последовательность и при этом считаться рефлексам краткого слогообразующего. Ведь эта вариативность в виде двоякой рефлексации, т.е. последовательности RV и RV (R – бывший слогообразующий, v – гласный, развившийся перед или после бывшего слогообразующего) как раз и отражают рефлексы двух слогообразующих, находившихся в оппозиции по признаку долготы - краткости и составлявших на этом основании коррелятивную пару. Таким образом, нет основания говорить о нейтрализации рефлексов кратких и долгих слогообразующих, ибо эта оппозиция сохраняется и косвенно продолжается в их рефлексах. Именно эта оппозиция обеспечивает позицию релевантности, т.е. позицию максимального различия (ср. Журавлев 1986, с. 97).

Тщательный анализ материала позволяет предположить в данном случае другой процесс, а именно, трансфонологизацию, которую мы, вслед за В.К. Журавлевым (1986, с. 149, 151), понимаем как сохранение эволюции оппозиции, но с существенным изменением оснований, на которых она была построена; и все же даже при всех изменениях физического содержания фонемы и оппозиции, в которую она входит, следует искать сохранение прежнего полезного противопоставления. Трансфонологизироваться может не только отдельная оппозиция, но и вся корреляция, так как изменяется дифференциальный признак или заменяется фонема. Может трансфонологизироваться признак долготы в признак подъема (o:a) или признак долготы в признак интонации (*Журавлев* 1986, с. 150, 151). «Хорошим примером на трансфонологизацию дифференциальных признаков может послужить 'переход' прежнего признака долготы прежних сонантов и первой части дифтонгов в признак интонации: акут – циркумфлекс» (*Журавлев* с. 113). Это наблюдение может иметь непосредственное отношение и к исследуемой паре \check{r} / \bar{r} , отражающей полезное противопоставление между

ними по признаку долготы - краткости. Интересно в этом смысле и замечание С.Д. Кацнельсона, сделанное по поводу говора Виандена, т.е. речь идет о «живом» факте современного германского диалекта: *«Вианденские примеры отличаются любопытной особенностью; в одних говорах сонант сохранился и коррекция падает на дифтонг, в других - сонант исчез и коррекция приходится на удлинённый предсонантический гласный. Можно думать, что в основе расхождения лежит бывшее различие узких и широких предсонантических гласных. Создается впечатление, что в словах второго типа вершина длительности перешла с сонанта на предшествующий ему гласный, вследствие чего сонант был ослаблен и исчез»* (Кацнельсон 1966, с. 241). С.Д. Кацнельсон говорит также о «слоговом распущении» долготы плавного сонанта, имея в виду фонетический процесс, вследствие которого появлялся «вставной гласный» и вызывал тем самым полногласие, например: лимб. /hal'əf/ «halbe», «половина» (1966, с. 293). Соглашаясь с таким механизмом «поведения» сонанта, мы полагаем, однако, что этот процесс, имевший место в конкретных немецких говорах, не связан с доисторическими трансформациями слогаобразующих, хотя, несомненно, может быть их отголоском.

В смысле типологии и прецедента значительным для понимания механизма изменений в системе долгих слогаобразующих может быть и такой в некоторых германских языках хорошо известный и описанный процесс как выпадение *n* в группе *n* + *стирант* и удлинение предшествующего гласного (т.е. так называемое компенсаторное удлинение) (Гухман 1962, с. 134). Этот же процесс засвидетельствован в латышском языке и славянских языках, ср. название гуся: германский архетип *gans-, да. gōs, англ. goose, снн. gōs, gās, др.-сев. gās, шв. gås лит. žąsis, лтш. zuoss, слав. архетип *gōserь (ЭССЯ 1974, с. 83; Kluge 1967, S. 231; Pfeifer 1989, S.501).

В данном случае, опираясь на наблюдения С.Д. Кацнельсона над живыми немецкими говорами и на факты выпадения носового в известных условиях в германских и балтийских языках, вызвавшие последующие изменения в системе гласных, можно предположить, что носовой (сонант), выпадая, «отдавал» свою энергию предыдущему слогу или гласному, удлиняя последний. Не лежит ли нечто подобное и в основе действия механизма вокализации долгого слогаобразующего, ведь об этом может сигнализировать именно двойная рефлексация (мы имеем в виду двойную последовательность в рефлексах RV и VR). Основываясь на подобном механизме действия, можно объяснить и противопоставление интонаций акут - циркумфлекс в балтийских языках, потому что по своим акустическим параметрам сонанты идут следом за гласными, причем они обладают тем же набором признаков, что и гласные. Самое существенное различие между ними возникает благодаря иной последовательности в иерархии признаков (ср. Якобсон, Халле 1962; Барроу 1976). Если исходить из того, что долгота долгого гласного равна двум морам, то долгота долгого сонанта также должна быть равна двум морам. В результате вокализации долгого слогаобразующего возникает последовательность RV: этот рефлекс отмечается почти всеми исследователями, но он не связывается с рефлексом долгого слогаобразующего, хотя для В.Н. Чекмана (1979, с. 31) метатеза плавных – а в данном случае последовательность RV можно трактовать как метатезу плавного! – является следствием утраты слоговыми их слогового характера. В.Н. Чекман (1979, с. 31, 34, 151) также не считает, что вопрос о причинах и механизме метатезы решен правильно и обоснованно, однако тесную связь между

метатезой плавных и разрушением слогового плавного сонанта подчеркивает настоятельно.

Не имея возможности углубляться в сложные и спорные моменты акцентологии, мы не можем, однако, обойти их молчанием. Поэтому мы считаем нужным хотя бы сформулировать гипотезу, к которой мы пришли в результате анализа лексем, возводимых к ие. *ǣ̃-*t-* «гнуть, крутить, вертеть». Итак, мы исходим из факта, признанного многими или большинством исследователей, что среди рефлексов слогаобразующего (имеется в виду краткий слогаобразующий, поскольку считается, что краткие и долгие рано совпали) выделяется и рефлекс, имеющий последовательность RV. Мы считаем, что именно этот рефлекс и отражает долгий слогаобразующий, т.е. *ǣ̃ >RV, где R – бывший слогаобразующий, а V – любой гласный, в том числе эпентетический, который в германских и балтийских языках традиционно связывают с нулевой ступенью (или ступенью редукции).

Можно предположить, что при вокализации долгого слогаобразующего могла произойти трансфонологизация признака долготы долгого слогаобразующего в признак интонации следующего слога в балтийских языках, а бывшая интонация циркумфлекса могла быть усилена двумя морями бывшего долгого слогаобразующего и могла стать интонацией акута. Ведь именно переход интонации циркумфлекса в интонацию акута в балтийских языках отмечает закон Фортунатова-Соссюра. Гласный следующего за бывшим слогаобразующим слога мог быть усилен, таким образом, до трех мор, что и могло стать материальной основой для возникновения интонации акута. О существовании таких сверхдолгих гласных, длительность которых равнялась трем морям, свидетельствуют, в частности, данные древнеиндийских грамматик, согласно которым наряду с противопоставлением между краткими и долгими гласными различается также «плывущее» или «протянутое» количество гласных, которое имеет три моря и в три раза длиннее краткого гласного (ср.: Иванов 1989, с. 110; Елизаренкова 1974, с. 93, 97). Трехморной была также древнейшая германская акцентуационная система (ср.: Кацнельсон 1966, с. 309; Кузьменко 1991).

О переносе долготы, полученной в плавной, на гласную говорил Ф. Ф. Фортунатов, рассматривая комбинацию «а + долгая плавная» перед согласными >ор, ол и с перестановкой рω, λω [а ǣ̃ с > ор, рá). Такую же перестановку звуков Ф. Ф. Фортунатов (1956, с. 244, 245) предполагал и для случая «а + краткая слоговая гласная» без последующей гласной > ар, ра, ал, ла. Эти предположения наводят на мысль, что прав был А. Мартине (1960, с. 142), утверждая, что «строение органов речи таково, что чаще всего оказывается экономичным проводить фонологическое различие между наличием и отсутствием гласной», поскольку, на наш взгляд, рефлекс краткого слогаобразующего развил перед бывшим слогаобразующим эпентетический гласный, а рефлекс долгого слогаобразующего «остался» без гласного перед бывшим слогаобразующим.

Возможно, Л. Г. Герценберг (1989, с. 31) имеет в виду то же самое, когда говорит: «Несомненно, важнейшим итогом развития индоевропейской акцентологии является установление связи единиц супрасегментного уровня с единицами других уровней, которую можно толковать как мутации признаков, как превращение признаков фонем в признаки просодические и наоборот».

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что на материале ие. *ǣ̃-*t-* в германских языках могут быть смоделированы следующие

фономорфологические варианты корня: *wre-t-, где e – любой гласный, t – детерминатив. Тогда можно предположить такие модели ие. **ц̆*-t- “гнуть, крутить, вертеть” в германских языках, в которых гласный корня связан с определенной степенью аблаута: *wrab-, *wreb-, *wrib-, *wrib- и т. д.

Мы не исключаем, что в результате вокализации долгого слогаобразующего в германских языках могло произойти перемещение ударения на корневой слог. Подобные рассуждения встречаются еще у Ф. Дитера (1904, S. 8), который писал, что существует зависимость появления гласного после бывшего слогаобразующего от места ударения в слове, которое перетягивалось на этот слог.

Для балтийских языков, принимая во внимание действие закона Лидэна, согласно которому начальное *ц* отпадает перед *г* и *л* в балтийских языках, можно смоделировать такие фономорфологические варианты **ц̆*-t- (общая схема та же, что и для германских языков: *цr* + любой гласный + детерминатив), но с учетом отпадения начального и получаются следующие модели: *rab-, *reb-, *rib- и т. д.

Э. Лидэн сформулировал в 1899 г. свой закон на материале балтийских и отдельно славянских языков, однако никакого объяснения этим превращениям Э. Лидэн не дал. С позиций современного языкознания закономерно возникает вопрос: отражает этот закон регулярные, объяснимые изменения или же исключение из каких-то других процессов? Кажется, всерьез этим законом пока еще никто не занимался, хотя о нем знают и на него ссылаются (ср.: Brugmann 1904; Persson 1912; Endzelīns 1974, 261. lpp; Иллич-Свитыч 1963, с. 25; Семереньи 1970 и др.). Но в последних исследованиях балтистов нет даже упоминания Э. Лидэна и его закона (ср. Zinkevičius 1984).

Относительно хронологии этого явления нет единого мнения. Одни, как Г. Шевелов (Shevelov 1965, p. 197), удревняют, на наш взгляд этот процесс, датируя отпадение начального *ц* в балтийских и славянских языках 2000–1500 г. до н.э., другие же вовсе называют закон Лидэна «простым предубеждением» (Иллич-Свитыч 1963, с. 24) или не могут сказать ничего определенного по этому поводу (Endzelīns 1974, 261. lpp.).

Итак, упрощение сочетаний *цr* и *цl* в анлаутной позиции в результате потери начального *ц* сближает балтийские и славянские языки, в то время как германские языки неоднозначно отражают этот анлаут. «Упрощение групп согласных представляет вполне естественное явление, поскольку они создают участок напряжения», полагает Серебренников (1974, с. 119), т.к. наблюдения показали, что в истории самых различных языков довольно ярко проявляются тенденции к упрощению групп согласных, а *w* в начальной позиции вообще является весьма неустойчивой фонемой. «Слабоартикулируемые звуки, по-видимому, во всех языках мира обнаруживают тенденцию к исчезновению. Из области согласных звуков наиболее слабо артикулируемыми являются *ц*, *i*, *h*» (Серебренников 1974, с. 92). Для германских языков эти звуки тоже являются слабоартикулируемыми, ср.: отпадение начального *h* в сочетаниях *hr-*, *hw-*, *hl-*, например: герм. *hring, днв. (h) ring, дс. hring, да. hring, англ. ring. «В отдельных германских языках наблюдаются разного рода случаи вокализации *j* и *w*, а также их потери. В начале слова *j* и *w* сохраняются в общегерманском, затем в отдельных диалектах подвергаются изменениям, ср.: ... начальное *w*, хорошо сохранившееся в готском, в скандинавском (перед сонантами *r*, *l* и лабиализованными гласными заднего ряда) и в

западногерманском (перед сонантами r ; l) постепенно исчезало, ср.: гот. *wulfs*, и.-е. * $\omega\lambda\upsilon\sigma$, дн. *wolf*, да. *wulf*, но др.-сев. *ulfr* «волк»; в рунической надписи на камне в Истабю, датируемой приблизительно первой половиной VI века, *waritu*; ср. гот. *wlaton* «высматривать», да. *wlātian* «пристально смотреть», ди. *līta*. Неустойчивым был сонант w в западногерманском и скандинавском после некоторых согласных, а также в ряде случаев и после долгого слога; ср.: да. *hwōsta*, дн. *huosto*, ди. *hōsti* «кашель» (Макаев 1962, с. 61).

Б.А. Серебренников (1974, с. 96), не говоря о законе Лидэна, подчеркивает, что неслоговое * υ , а также билабиальное w исторически довольно неустойчиво.

В.Я. Плоткин (1982, с. 80) считает устранение w , j из определенных позиций в начале слова перед гласным свидетельством происшедшей перестройки в тембровой оппозиции. При этом w выпал перед лабиализованными u , o , а j во всех четырех известных скандинавских словах, где он занимал начальную позицию (ср. гот. *jer*, *juk*, *juggs*, фин. заимствование *juusto*, ди. *ár*, *ok*, *ungr*, *ostr*). «Подобное поведение (w), (j) очень характерно для языков с единственной тембровой оппозицией лабиализации, потому что звучание (w) близко антропофонической реализации ее положительной кинакемы, а (j) по звучанию сближается с перепалатализацией, которая, будучи антропофонически контрарна лабиализации, выступает в таких языках как типичное антропофоническое свойство нелабиализованных гласных» (Плоткин 1982, с. 81).²

Показания германских языков свидетельствуют, что в большинстве германских языков начальные сочетания wr , wl сохранились. Особенно это характерно для некоторых скандинавских языков и для нижненемецких диалектов, т.е. прежде всего для ингвеонского ареала. Как тут не вспомнить, что именно ингвеонский ареал сохранил самые надежные свидетельства архаичности германской фонологической системы (Markey 1986, p. 405).

Что касается второго компонента в сочетании wr - или wl -, то плавные и носовые во всех языках отличаются относительно большей устойчивостью по сравнению со всеми другими типами согласных, считает Серебренников (1974, с. 156). В.К. Журавлев (1986, с. 115) отмечает не только весьма высокую устойчивость r , но и его значительные физиолого-акустические отличия от других согласных, что предохраняет его от ассимилирующего воздействия других согласных.

Итак, можно сделать общий вывод: в анлауте часто возможны изменения в группах согласных, если в этих сочетаниях выступают u , i , и h . О. Семереньи (1980, с. 108–110) рассматривает некоторые случаи исчезновения согласного в анлауте как фонеморфологическую альтернативу, причисляя эти случаи к чередованиям согласных, например, корни s и без s -mobile, чередование w : нуль в начале слова; в некоторых случаях наблюдается чередование начального смычного с нулем.

Интересной и продуктивной нам показалась мысль О. Семереньи (1980, с. 105–106) о возможности причислить случаи типа лат. *plēnus* к двусложным корням, имеющим структуру * $c\bar{r}$ -; первом слоге такого образования всегда будет представлена нулевая ступень, тогда как во втором слоге может быть любой гласный. О. Семереньи (Семереньи 1980, с. 104–105), считая корень типа * $c\bar{r}$ - наряду с типом **cerə*- формами двусложного корня **cerā*-, приравнивает их к индийским корням *sēt*-, в которых i является шва. На наш взгляд, структура * $c\bar{r}$ - отражает именно рефлекс долгого слогообразующего, так как является последовательностью

VR-. Если представить себе, что этот корень имеет детерминатив, то в таком случае этот двусложный корень примет вид * *cret-*, что соответствует известной форме Е. Куриловича (*Kuryłowicz* 1956) TRET-.

Исходя из нашего вывода о том, что рефлексы кратких и долгих слогаобразующих были разными, попытаемся изобразить предполагаемые структуры при помощи символов, где Т – любой согласный, R – плавный согласный (или вообще сонант), Е – любой гласный, гласные U, I. Для германских языков мы получим структуру, содержащую рефлекс краткого слогаобразующего в виде. TURT-/TIRT-, а, с рефлексом долгого слогаобразующего – структуру TRET- (где Е - любой гласный, в том числе и i, u).

Для балтийских языков с учетом рефлексов краткого слогаобразующего мы получаем структуру TIRT-/TURT-, а с рефлексом долгого - TRET-, где Е – любой гласный, в том числе i и u. Как видно, структура корня в германских и балтийских языках, содержащая рефлекс краткого слогаобразующего, идентична, однако в германских языках чаще встречаются корни с U, а в балтийских – с I, а структура корня, отражающего рефлекс долгого слогаобразующего в германских и балтийских языках, абсолютно идентична. Сравнивая эту структуру с известным состоянием I и состояние II индоевропейского корня по Э. Бенвенисту, напрашивается вывод и об их идентичности со структурой, содержащей рефлекс долгого слогаобразующего в германских и балтийских языках. Это же совпадение отмечает и М. М. Гухман, рассматривая особенности оформления нулевой ступени чередования в германских языках в корнях типа TRET-/TERT-, т.е. в «тяжелых корнях»: *«Несомненно, в большинстве случаев данный тип чередований в германских языках отражает закономерности, обусловленные поведением индоевропейского корня в разных сочетаниях корневой и аффиксальной морфем: структура аффиксальной морфемы, ее звуковой состав определяли огласовку корня. Фактически с этим связаны и разновидности первой и второй основ в теории индоевропейского корня, изложенной Э. Бенвенистом...»* (Гухман 1962б, с. 260 – 261).

На необходимость четкого различения состояния I и состояния II указывают и этимологи, считая, что для этимологических исследований в этом кроются известные и немалые резервы (*Варбот* 1963, с. 210).

Поскольку факт существования состояния I и состояния II в общиндоевропейском признан, хотя не всегда оба эти состояния представлены одновременно, реальным становится предположение о том, что рефлекс долгого слогаобразующего был общим для всех индоевропейских языков и вокализовался, скорее всего, еще в общиндоевропейский период. Более конкретно указать на время протекания этого явления вряд ли возможно, но, принимая во внимание то, что результаты вокализации долгого слогаобразующего не были абсолютно одинаковыми для всех индоевропейских языков (ср. возможную связь между становлением новой акцентной парадигмы в балтийских языках, выраженной законом Фортунатова-Соссюра, и возможная связь со становлением нового наосновного германского ударения), можно с известной долей уверенности предположить, что вокализация долгого слогаобразующего могла иметь место накануне распада индоевропейской языковой общности. Этот процесс был, несомненно, очень древним.

Анализируя структуру типа TRET-, аналогичную исследованной нами структуре *cret-*, бросается в глаза необычайное сходство с корнями, в которых

представлен вторичный аблаут (Schwebeablaut), метатеза, а также, возможно, R- инфикс.

Это сходство и даже полное совпадение рассматриваемых структур заставляет задуматься о том, не идет ли речь о единой структуре, которая в силу каких-то причин была переосмыслена как ряд омонимичных форм.

Корни типа TRET- причисляются германистами к «тяжелым корням» (Kuryłowicz 1956). О. Семереньи рассматривает их как двусложные базы, имеющие две ступени аблаута. Таким образом, корень типа TRET- имеет структуру H_1P_2 или в случае, например, * $g\tilde{r}$ - - H_1H_2 , где H – нулевая, P – полная ступень (Семереньи 1980, с. 105).

Для микрогнезда * \tilde{r} -t- «гнуть, крутить, вертеть» в германских языках нами восстанавливается архетип * $WRET$ -, где E – любой гласный, а структуру корня можно изобразить в таком случае как H_1P_2 или H_1H_2 , если во второй части представлен гласный i или u . (хотя мы бы скорее назвали эту ступень ступенью редукции, а не нулевой ступенью). Как известно, во многих германских языках начальное w отпало, но его присутствие в ингвеонских диалектах зафиксировано в памятниках.

Для балтийских языков можно восстановить архетип * VRE - T -, который вследствие потери начального V по закону Лидена предстает в виде ие. * RE - T -. В данном случае мы имеем дело с опрощением, дестимологизацией, поскольку в таком виде связь лексемы с корнем * \tilde{r} - «гнуть, крутить, вертеть» уже не ощущается, а возведение лексем, начинающихся с r к соответствующему корню крайне затруднено, однако неоценимую помощь могут оказать именно германские языки, в которых это начальное w хорошо сохранилось в ингвеонских диалектах.

Таким образом, в балтийских языках представлена не полная, а усеченная структура корня H_1P_2 или H_1H_2 , имея в виду, что H_1 представлена только своей второй частью R. Однако для всех других анлаутов, на наш взгляд, эта структура имеет силу, ср.:

ие.	* $bher$ -	* $bhor$ -	* $bhr\tilde{r}$ -	* $bhr\tilde{r}$ -
гот.	bairan «носить»	barn «дитя»	gabaurbs «рождение»	briggan «приносить»
лтш. ³	bērt «сыпать»	bārstīt «рассыпать»	birt «сыпаться» burt «колдовать»	briest «набухать», brenderkernnen «беременная» (др.-прусс.)

Анализируя схематическое изображение корней, содержащих рефлексы кратких и долгих слогообразующих в германских и балтийских языках, возникает неотложная потребность рассмотреть эти структуры в связи со слабой ступенью аблаута, к которой относятся нулевая и редуцированная ступени аблаута. В научный обиход эти понятия были введены Г. Гюнтертом и Г. Хиртом, которые развили дальше индоевропейскую теорию Ф. Ф. Фортунатова об иррациональных гласных (Савченко 1974, с. 146). Г. Хирт полагал, что следует различать две разновидности слабой ступени аблаута - нулевую и ступень редукции (Hirt 1921, S.3). Особо важной Г. Хирт считал дифференциацию между нулевой ступенью долгого гласного и ступенью редукции краткого гласного, т.е. между шва примум и шва секундум (Hirt 1921, S.19). Многие ученые считают сомнительными или явно устаревшими,

неправильными положения теории Г. Хирта, на основе которых он, выделяя степень редукции в качестве самостоятельной, придавал ей особое значение (*Венцукте* 1971, с. 27).

Однако этот вопрос совсем не так прост, и сложность его осознается многими, так как слабая степень у разных корней в разных языках оформлена по-разному, причем неясными остаются как условия, так и колебания в ее оформлении. Кроме того, первоначальные отношения в немалой степени затемнены позднейшими наслоениями, а также дискуссионностью теории индоевропейских редуцированных. Наконец, нечетким является и само выделение нулевой степени и степени редукции в пределах слабой степени. Все это и обусловило, по мнению М. Гухман (1962, с. 231), существование разных точек зрения по данному вопросу.

Соглашаясь с тем, что в отношении общеиндоевропейского едва ли возможно провести резкую границу между нулевой степенью и степенью редукции, Е. Прокош (1954, с. 123) все же считает, что «*среди отдельных индоевропейских языков аналогия и изменения в манере речи способствовали как будто бы унификации их употребления*».

Нулевую степень аблаута связывают с полным исчезновением гласного, а степень редукции - с его редукцией (Гухман 1962, с. 236; Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 162). За германскими языками признается такая специфическая особенность как параллельное существование «нормальной» нулевой степени типа гот. *kun-i* и нулевой степени без *u* типа гот. *knōPs*, что обусловлено особенностями оформления этой степени чередования в германских языках (Гухман 1962, с. 260-261).

Мы не можем согласиться с такой трактовкой специфики оформления слабой степени в германских языках. Во-первых, гот. *kun-i* мы определяем как степень редукции, так как гласный не исчез полностью, но только редуцировался. Случай же гот. *knōPs* * отражает, на наш взгляд, нулевую степень, так как гласный исчез полностью. Несколько раньше мы высказали мысль, что рефлекс долгого слогаобразующего, дающий во всех индоевропейских языках структурный тип TRET-, вокализировался еще в период индоевропейской общности, потому что совпадает во всех индоевропейских языках. Поэтому случай гот. *knōPs** никак не может быть германской особенностью. Другое дело тип гот. *kun-i*. Здесь, действительно, представлена германская особенность в виде эпентетического *u*, развившегося в результате вокализации *ǔ*. Как мы помним, для германских языков принимается двоякий рефлекс \check{r} : *ur/ir*, как и для балтийских языков, только в другой последовательности, которая отражает частотность появления соответствующего рефлекса: \check{r} : *ir/ur*. Поэтому мы полностью согласны с Г. Хиртом и Е. Куриловичем, считавшими, что нулевая степень и степень редукции принадлежат к разным хронологическим срезам (*Венцукте* 1971, с. 78), причем Е. Курилович полагал, что нулевая степень является более древней (*Kuryłowicz* 1956, S. 9).

Не можем мы также согласиться с утверждением Г. Гюнтерта о невозможности разграничения между нулевой степенью и степенью редукции в двусложных базах (*Günther* 1916, S. 100-101).

Как показывают наблюдения О. Семереньи, тип TRET- соответствует двусложным базам (*Семереньи* 1980, с. 105), а первая часть, на наш взгляд, отражает нулевую степень TR-, являющуюся результатом вокализации \check{r} и его последующей трансфонологизации.

Относительно гласного, развивающегося в корнях с сонорными у, w, r, l, m, n в степени редукции, можно сказать, что это был редуцированный звук, являвшийся своего рода опорой сонорных в соседстве с шумными (ср. *Гамкрелидзе, Иванов* 1984, с. 162), анаптическим звуком (ср. *Сосюр* 1977, с. 309).

Однако шире распространено сегодня другое мнение, согласно которому незачем различать нулевую ступень и ступень редукции. Эта неупорядоченность употребления терминов закрепилась, и во многих работах исследователи считают оба термина синонимами (ср. *Савченко* 1974, с. 146; *Мельничук* 1968, с. 203).

Некоторыми исследователями подчеркивается большая важность изучения вопроса об относительной хронологии живых и продуктивных отношений основы I и основы II (ср. *Варбот* 1963, с. 210). Как мы выяснили ранее, структурный тип, представленный состоянием II по Э. Бенвенисту (1955), полностью идентичен типу TRET-, который содержит, на наш взгляд, рефлекс долгого слогаобразующего. Поэтому мы не можем согласиться с мнением Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, согласно которому форма с нулевой ступенью огласовки выступает как нейтрализация состояний I и II, так как в ней якобы фактически нейтрализуется противопоставление состояний I и II в формах полной ступени, ибо форма с нулевой огласовкой может быть по существу нулевым морфологическим вариантом как состояния I основы, так и состояния II (*Гамкрелидзе, Иванов* 1984, с. 240).

Рассматривая в качестве примера сопряженные основы, Вяч. Вс. Иванов и Т. Гамкрелидзе считают возможным с достаточной уверенностью оба аблаутных типа этого корня постулировать для общеиндоевропейского, объединяя их в единую парадигму. «Нулевые формы в др.-инд. **pr̥scháti* “спрашивает”, лат. *posco* < **porscō*, днв. **forścōn*, лит. *piršti* могут быть выведены теоретически как из типа А, так и из типа В данного корня» (*Гамкрелидзе, Иванов* 1984, с. 237).

тип А * <i>p^herk</i>	тип В * <i>p^hrek^h</i>
лит. <i>peršù</i> «сватаюсь»	др.-инд. <i>praśná-</i>
днв. <i>fērgōn</i> «просить»	авест. <i>frašna</i> «вопрос»
умбр. <i>persnimu</i>	лат. <i>pr̥secō</i> «прошу»
арм. <i>pr̥saw</i> «искатель», «истец»	гот. <i>fraihnan</i> «спрашивать»
	лит. <i>prašau</i> «требую»
	ст. -сл. <i>prosi</i>
	тох. А <i>prak-</i> . тох. В <i>prek-</i> «спрашивать»

Можно согласиться с существованием обоих типов А и В в общеиндоевропейском, но признать, что нулевая ступень может быть выведена как из типа А, так и из типа В, мы не можем ни в коем случае. Во-первых, в приведенных формах, судя по др.-инд. *pr̥scháti*, а также по германским и балтийским примерам, представлены рефлексы \check{r} , которые, вокализуясь, дают ступень редукции, ибо гласный в ней не исчезает полностью. А нулевая ступень, отражающая рефлекс \bar{r} с полностью исчезнувшим гласным, представлена типом В. Так что никаких противоречий мы здесь не видим. К приведенным примерам мы хотели бы присоединить также некоторые факты латышского языка: *pirkt* «покупать» (с рефлексом краткого слогаобразующего), ср. герм. архетип **forścōn* с рефлексом * \check{r} > ur, or; *prese* «товар», *pr̥sēt(ies)* “жениться” (с рефлексом \bar{r} > re), ср. герм. архетип **fraihnan* «спрашивать» (*Müllenbachs* 1923 – 1932, 224. lpp., 384. lpp.; *Kluge* 1967, 213, 214).

Считается, что в отдельных индоевропейских языках в большинстве случаев, как правило, сохраняется только одна из двух возможных ступеней огласовки – нормальная или нулевая – в результате разрушения первичных парадигматических чередований и распространения на всю парадигму в историческую эпоху одной из чередующих форм (Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 223). Однако даже беглое знакомство со словарным запасом германских и балтийских языков заставляет усомниться в таком утверждении, ибо состояние II, по крайней мере, представлено весьма широко наряду с состоянием I.

В распознавании ступени редукции действительно существуют немалые трудности, так как она может восходить либо к полной ступени с дифтонгом, либо к ступени с долгими \bar{i} и \bar{u} , либо быть результатом вокализации краткого слогообразующего (Мельничук 1968, с. 215; Прокош 1954, с. 100). Очевидно, в таком случае следует, как можно шире, привлекать данные других родственных индоевропейских языков.

Анализируемый материал позволил сделать еще одно наблюдение, связанное со структурой TRET -, касающееся поразительной его идентичности состоянию II по Э. Бенвенисту. На это сходство указывают, в частности, О. Семереньи, Т. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Речь идет о так называемом вторичном аблауте (Schwebeablaut). «Чередования типа **ters-/*tres-*(например, лат. *terreō* «я устрашаю»: греч. *ἐ-τροσ-σας* «они испугались»), называемые перестановочным аблаутом (Schwebeablaut), восходят в принципе к двусложным основам типа **ter-es-*, которые в зависимости от места ударения давали **tér-s* соотв. **tr-és-*. В некоторых случаях (например, при среднем R) могла, по-видимому, происходить метатеза, то есть **terp-* могло переходить в **trep-*» (Семереньи 1980, с. 150).

Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов выявили, что «при сопоставлении корневых структур с Schwebeablaut'ом и проанализированных выше структур основ в первом и втором состояниях, чередующихся по схеме Бенвениста, явственно обнаруживается морфологическая идентичность схемы аблаутных чередований. Основное различие между двумя этими группами форм выражается в разложимости или неразложимости отрезка, в котором осуществляется аблаутное чередование гласных. Однако такое различие сводится целиком к морфологии и незначимо с точки зрения механизма морфонологических чередований. С точки зрения морфонологического поведения основы разложимость или неразложимость отрезка на морфемы не имеет функционального значения. Аблаутное поведение этого отрезка остается одним и тем же, как в первом, так и во втором случае. При рассмотрении корневой и суффиксальной морфем как единого целого в пределах основы в первой группе форм или при толковании синхронно нечленимой основы во второй группе форм как последовательностей корней и суффикса обе синхронно различающиеся группы можно свести друг к другу» (Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 237).

На наш взгляд, исключение форм, в которых присутствуют Состояние I и Состояние II по Э. Бенвенисту, из сферы действия морфонологии, лишает нас возможности понять до конца и осмыслить сам механизм «получения» этих состояний основ. В первую очередь это касается Состояния II, в котором, по нашему мнению, присутствует рефлекс долгого слогообразующего, отражающийся в виде нулевой ступени чередования. А аблаут, как известно, является фономорфологической альтернативой. Таким образом, мы не поддерживаем точку зрения Т. Гам-

кредлидзе и Вяч. Вс. Иванова, согласно которой теоретически обе эти структуры (Состояние I и Состояние II) могут быть сведены друг к другу, а все неразложимые основы второй структурной группы можно представить как результат преобразования морфемных последовательностей корня и суффикса в двух аблаутных состояниях (ср. *Гамкрелидзе, Иванов* 1984, с. 238).

Рассматривая структуру морфем с вторичным, или перестановочным аблаутом, Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов пришли к выводу, что «конечные элементы корней с *Schwebeablaut*'ом - это фактически те же древние суффиксальные морфемы, слившиеся в дальнейшем с корнем и образовавшие тем самым новый структурный тип корневой морфемы «трехконсонантного» состава (*Гамкрелидзе, Иванов* 1984, с. 238).

Несколько раньше мы уже ссылались на О. Семереньи, считающего, что в формах с вторичным аблаутом может выступать и метатеза плавного. Такое же мнение представлено и М. М. Гухман в «Сравнительной грамматике германских языков», причем она отмечает, что метатеза была распространена преимущественно в ингвеонских диалектах, и что она была связана с другими особенностями поведения корней данного типа (*Гухман* 1962, с. 263; *Жлуктенко, Двухжилов* 1984, с. 16,17).

В.М. Жирмунский (1976, с. 350) считал, что метатеза плавного в германских языках явление древнее, но пока недостаточно изученное, так как не получило до сих пор удовлетворительного объяснения. и сам объяснял это явление тем, что между сонорным и шумным возникал переходный гласный, перетянувший затем на себя ударение. Исследователи отмечают также, что в огромном большинстве случаев метатеза звуков l, r, m, n, i, u возникает в результате двусложного чередования, но в германских языках они не получили грамматической функции (*Прокош* 1954, с. 129).

Есть и такое мнение, представленное в монографии Г. Карстина, что R является инфиксом. Так, Г. Карстин рассматривает лексемы нем. *würgen* «душить» и *wringen* «выкручивать» как производные от одного и того же корня ие. * \bar{r} ЦЕР- – гнуть, крутить, вертеть», считая, что в *wringen* присутствует инфикс R (*Karstien* 1971 S.34).

Подводя некоторые предварительные итоги, можно согласиться с Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым, считающим, что «*Внутренняя реконструкция древнейших типов индоевропейских основ с чередующимися двумя аблаутными состояниями в результате диахронического истолкования неразложимых индоевропейских основ с *Schwebeablaut*'ом и установления структурных типов, им предшествующих, дает довольно единообразную картину структурного построения последовательностей морфем в общиндоевропейском языке раннего периода с аблаутными состояниями, распределяемыми по схеме Э.Бенвениста. Такой период предполагается нами как период истории общиндоевропейского языка, предшествовавший образованию нечленимых основ с *Schwebeablaut*'ом» (*Гамкрелидзе, Иванов* 1984, с. 240).*

Из проблем, касающихся, по нашему мнению, рефлексов долгих слогообразующих, осталось коснуться еще ие. иррациональных гласных звуков, открытых Ф.Ф. Фортунатовым и известных в компаративистике как шва примум и шва секундум (*Günthert* 1916, S. 44).

Ф. де Соссюр по праву считал вопрос о редуцированных, характерных для нулевой ступени аблаута, одним из стержневых в теории вокалических чередований

(Гухман 1962, с. 232). Не имея возможности вдаваться в подробности, мы остановимся лишь на некоторых ключевых моментах этой проблемы, имеющих непосредственное отношение к нашим исследованиям.

Существует такое мнение, что шва примум в виде его рефлексов налицо во всех индоевропейских диалектах, и, следовательно, реконструируется для общеиндоевропейской эпохи. Шва секундум, или шва Гюнтерта, более позднего происхождения, характерно для отдельных поздних индоевропейских диалектов. Оно как явление типологически аналогично древнему редуцированному гласному (шва примум) и возникает для преодоления определенных комплексов, нехарактерных для отдельных диалектов индоевропейского языка» (Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 153–154).

Шва примум представляет собой редуцированную, или нулевую ступень долгих гласных, а шва секундум – редуцированную ступень кратких. «Фактов для такого суждения, однако, недостаточно», считает О. Семереньи (1980, с. 50–51, 127).

В.Р. Шмальштиг отрицает наличие шва индогерманикум (или ларингального) в так называемых долгих сонантах в балто-славянском и индоиранском, считая, что в примерах, приведенных, в частности, А. Мейе и А.Тумба, Р. Хаушильдом, никогда не было шва или ларингала, и что в данном случае речь идет о самом раннем реконструированном индоевропейском состоянии, отражающемся в акцентных характеристиках так называемого долгого сонанта (*Schmalstieg* 1973, p. 7).

Совершенным противником шва был Т. Барроу: «В сравнительных словарях это *ə*, так опрометчиво постулированное, выступает в индоевропейских реконструкциях в необычайном изобилии, главным образом в так называемых дву-слоговых корнях. Санскритское *i*, когда оно стоит после таких корней, также относится к суффиксу, и *H*, составлявшее конечный элемент корня, опускается (**táritum*/**tarH-ítum*). ...Кроме того, некоторые ученые ввели еще второе шва, которое, как предполагалось, представляло редуцированную форму кратких гласных. В результате теория апофонии, которая, как мы увидим ниже, в действительности до крайности проста, стала чрезвычайно сложной. С открытием хеттского *h*, повлекшим за собой популярность ларингальной теории, основные принципы старой теории были перенесены на новую. Индоевропейское *H* было отождествлено со старым шва (*ə*) и стало считаться, что все разновидности *H* могут функционировать, подобно плавным и носовым, и как гласные, и как согласные... Нечего и говорить, что возражения против «шва» в старой версии этой теории остаются в силе и по отношению к новой версии: нет убедительных доказательств того, что *H* в любой из его разновидностей могло функционировать как гласный, и оно, конечно, никогда не могло передаваться в санскрите звуком *i*» (Барроу 1976, с.101).

В последнее время стало утверждаться мнение, что следует говорить не о ларингальных, а о ларингальности. «Саму ларингальность достаточно рассматривать как дифференциальный признак, меризм. Такая трактовка ларингальности вытекает, в частности, из просодической теории Ф. Ф. Фортунатова в интерпретации С.Д. Кацнельсона: к краткой ступени * \bar{I} (\bar{I} – любой сонант и, возможно, любой согласный), в качестве полной ступени ими принимается * $e\bar{I}$, а не $e\bar{I}$. Эта реконструкция опирается не на индоиранские и древнегреческие данные, а на материалы балто-славянских языков. Она отменяет $\bar{I} < lə$, Schwa indogermanicum оказывается ареально ограниченным явлением эпентетического характера»

(Герценберг 1989, с. 31). Л. Г. Герценберг также считает, что большинство эффектов, объясняемых с помощью ларингальной теории, в том числе и слоговые акценты, могут быть приписаны воздействию просодического признака ларингальности или фарингализации, близкого к толчку (Герценберг 1989, с. 31).

Этот вывод позволяет нам приблизиться к последнему вопросу, который, как нам кажется, связан с рефлексамии долгого слоогообразующего в балтийских языках, хотя мы ни в коей мере не претендуем на полноту и глубину изложения всей большой проблемы, являющейся объектом самого пристального внимания ученых, специально занимающихся вопросами акцентологии. Мы подчеркиваем еще раз, что необходимость затронуть аспекты акцентологии вытекает из анализа лексического материала, что это делается в силу действия комплексного подхода к исследованию фонеморфологических явлений и альтернатив, так как обойти этот факт молчанием не представляется возможным.

Как отмечается многими исследователями, сложная проблема интонационных противопоставлений в балтийских (и славянских) языках имеет две стороны: общетеоретическую (функции интонации, ее фонологическая значимость) и генетическую (происхождение и исторические судьбы) (Журавлев, Авксентьева 1972, с. 233–242). Представляется, что вторая сторона этого вопроса может быть связана с вокализацией долгого слоогообразующего, так как, во-первых, уже сложилось понимание балто-славянских интонаций как результата фонетико-морфологических процессов, а во-вторых, обязательной материальной базой для интонации являются долгие слоогоносители ((Журавлев, Авксентьева 1972, с. 234–235). Опираясь на эти современные положения, можно по-новому взглянуть и на учение Ф. Ф. Фортунатова, согласно которому *«в праязыке различались слоги-морфемы, закрытые долгим сонантом или согласным, и слоги-морфемы, не имевшие подобной долгой финали. Долгота могла переходить и на слоогообразующий гласный; она сохранялась во всех чередовательных ступенях; иначе говоря, эта долгота характеризовала слог в целом, была супрасегментной. В балто-славянских языках данное просодическое свойство отражается как акут, в древнеиндийском и в древнегреческом его проявлением при сонантах являлось Schwa indogermanicum»* (Герценберг 1981, с. 39).

Итак, Ф. Ф. Фортунатов показал, что долгота слоогообразующего сонанта могла отражаться в балто-славянских языках как акутовая интонация. Не будем вдаваться в историю вопроса, однако отметим, что заслуга в реконструкции древнейших балтийских акцентных парадигм принадлежит Ф. де Соссюру, восстановившему две разновременные системы. *«Вторая система характеризовалась зависимостью между ударением и слоговой интонацией»* (Соссюр 1977, с. 620). Закон, открытый впоследствии независимо друг от друга двумя выдающимися лингвистами получил название «закон Фортунатова-Соссюра», и отражает новое качество литовской (вероятно, прабалтийской) интонации. Как отмечает Л.Г. Герценберг (1981, с. 39), этот закон ознаменовал собой рождение двух направлений современной индоевропейской акцентологии и просодики: ларингалистическое и просодическое. На наш взгляд, это признание подтверждает несомненную связь рассмотренных нами ниже явлений с судьбой долгих слоогообразующих, поскольку и другие исследователи не разрывают рассмотрение ларингальных или ларингальности, шва и слоогообразующих в одном контексте.

Опираясь на опыт и достижения предшественников и проведя собственное исследование, мы пришли к выводу: в известный период, скорее всего накануне

распада общеиндоевропейской языковой общности, произошла вокализация долгих слогообразующих, которая отразилась в индоевропейских языках в виде рефлекса, принявшего вид последовательности из бывшего слогообразующего и любого гласного, так как перед бывшим слогообразующим никакого пазвука не образовалось. В балтийских языках долгий слогообразующий, трансфонологизируясь, мог отдавать свою долготу следующему слогу, усиливая его материально и создавая тем самым условия для появления интонации акута, являющейся маркированным членом бинарной оппозиции. Такой вывод находится в противоречии с выводом, сделанным Ф.Ф. Фортунатовым, согласно которому рефлексом краткого слогообразующего в балтийских языках являются отрезки *iġ*, *uġ* (с интонацией циркумфлекса), а рефлексом долгого слогообразующего - отрезки *if*, *uf* (с интонацией акута). Однако сам Ф. Ф. Фортунатов указывал на то, что очень часто рефлекс-сы слогообразующих принимали вид отрезков, отражающих последовательность, например, в др.-гр. *ap*, *pa* и т.д. (Фортунатов 1956, с. 238–254).

Очень важным кажется нам общий вывод С.Д. Кацнельсона относительно германской акцентуационной системы: *«Этимологическая дистрибуция акцентов, обусловленная структурой индоевропейского корня, в германском была замещена другой, основанной на различии вершинных акцентов в трехморном исчислении. Исконные динамические различия были здесь так или иначе подчинены вершинным. В балто-славянском также имел место процесс переплетения динамических акцентов с вершинными. Так, в литовском, например, акут выступает как начально-вершинный акцент, а «циркумфлекс» (т.е. этимологически плавный акцент) - как конечно-вершинный. Но по контрасту с германскими языками балтийские и славянские языки подчинили вершинные различия динамическим и тем самым сохранили древние этимологические связи акцентов с фонематической и квантитивной структурой индоевропейского корня»* (Кацнельсон 1966, с. 309). Этот вывод касается всех долгосложных слов с группой «долгий корневой гласный + дифтонг или дифтонгическое сочетание + шумный», для которых восстанавливается трехморная акцентуация, основанная на противопоставлении центрального и периферийного акцента (Кацнельсон 1966, с. 308). *«Слова с группой 'краткий корневой гласный + шумный' также, по всей вероятности, имели в древнейшую пору комбинированную акцентуацию. Одновершинному плавному акценту с вершиной на кратком гласном в них противостоял двухвершинный резкий акцент, одна вершина которого приходилась на краткий гласный, а другая - на последующий сильный согласный»* (Кацнельсон 1966, с. 309).

Рассматривая переход германской акцентуационной системы от трехморной к двухморной, С. Д. Кацнельсон показал, что этот переход был связан с заменой подвижной парадигмы парадигмами с обобщенным местоположением акцентной вершины. *«Такое развитие вызывалось функциональной перестройкой древних акцентов, которые из средства выражения внутрипарадигматических (формообразовательных) отношений превратились в средство выражения межпарадигматических (словообразовательных) отношений... Вместе с тем перестроилась вся система древней акцентуации и связанная с нею система фонем»* (Кацнельсон 1966, с. 310-311).

С. Д. Кацнельсон связывал перестройку германской акцентуационной системы с утратой шумными их былой функции в составе фонетического базиса и превращением их в забазисные согласные. *«Забазисные согласные не были уже больше морообразующими шумными предшествующей эпохи, - не только потому,*

что резко изменилась их роль в акцентуационной системе, но еще и потому, что в связи с изменившейся ролью произошли сдвиги в соотношении шумных фонем. Эти сдвиги, которые могут быть обозначены как «вторые передвижения согласных», по-разному протекали в разных германских языках, но повсюду отражались в частичной фонемизации вариантов фонем, а также в процессах конверсии, в результате которых границы фонем нарушались, и варианты одной фонемы сливались с вариантами другой в новую единицу. Ни в одном германском языке инвентарь записных фонем на новом этапе уже не совпадал с древним инвентарем шумных фонем, допускавших варьирование по закону Вернера» (Кацнельсон 1966, с. 311).

С. Д. Кацнельсон связывает изменения в германской акцентуационной системе с активностью (или потерей активности) шумных, которые, по его мнению, влияли на распределение акцентов при старой системе и потеряли это влияние при новой. Могла ли сказаться вокализация долгих слогообразующих на интонационной системе германских языков? Ответить на этот вопрос весьма непросто. С. Д. Кацнельсон не рассматривал возможную роль долгих слогообразующих в становлении германских акцентуационных систем. Однако, на наш взгляд, эта проблема требует самого пристального изучения, потому что одни только шумные вряд ли могли выполнять такую сложную функцию по распределению акцентов. Поэтому мы считаем возможным поставить вопрос об участии в этих процессах сонантов или долгих слогообразующих. Эта тема должна, конечно, стать объектом самостоятельного исследования.

Впрочем, Ю. К. Кузьменко (1991, с. 144) полагает, что существование морных акцентов во всех древних моросчитающих германских языках совсем не очевидно, поскольку «... основное направление изменения просодического облика корневой морфемы задается, вероятно, изменениями в грамматической структуре, что наиболее отчетливо видно при переходе от корреляции контакта к силлабемности. Однако окончательный ответ на вопрос о том, каким образом изменения грамматической структуры влияли на изменения просодического облика экспонента корневой морфемы смогут дать новые исследования».

ЛИТЕРАТУРА

1. Барроу Т. *Санскрит*. Пер. с англ. Н. Лариной; ред. и коммент. Т. Я. Елизаренковой. Москва, 1976.
2. Бенвенист Э. *Индоевропейское именное словообразование*. Пер. с франц.; ред. и прим. Б. В. Горнунга. Москва, 1955.
3. Варбот Ж. Ж. О словообразовательном анализе в этимологических исследованиях В кн.: *Этимология: Исследования по русскому и другим языкам*. Москва, 1963, с. 194 – 212.
4. Венцкуте Р.И. *Литовский аблаут: современное состояние и индоевропейская модель*: Дис...канд. филол.наук. Москва, 1971.
5. Гамкрелидзе Т., Иванов Вяч. Вс. *Индоевропейский язык и индоевропейцы*. В 2-х т. Тбилиси, 1984.
6. Герценберг Л. Г. Проблемы акцентологической реконструкции. В кн.: *Сравнительно-историческое изучение языков разных семей*. Москва, 1989, с. 29–47.
7. Герценберг Л. Г. *Вопросы реконструкции индоевропейской просодики*. Ленинград, 1981.

8. Гухман М. М. Система гласных фонем в германских языках . В кн.: *Сравнительная грамматика германских языков*. В 4-х т. Москва, 1962. Т. 2, с. 72 – 140.
9. Гухман М. М. Аблаут в германских языках. В кн.: *Сравнительная грамматика германских языков*. В 4-х т. Т.2. Москва, 1962. с. 221 – 289.
10. Дыбо В. А. *Славянская акцентология*: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. Москва, 1981.
11. Елизаренкова Т. Я. *Исследования по исторической фонологии индоарийских языков*. Москва, 1974.
12. Жирмунский В. И. *История немецкого языка*. Изд. 5-е, пересмотр. и испр. Москва, 1965.
13. Жирмунский В. М. *Общее и германское языкознание*. Ленинград, 1976.
14. Жлуктенко Ю. А.; Двухжилов А. В. *Фризский язык*. Киев, 1984.
15. Журавлев В. К. Праиндоевропейские и праславянские слоговые плавные. В кн.: *Вестник Московского университета*. Сер. № 2. 1966, с. 3 – 12.
16. Журавлев В. К. *Диакроническая фонология*. Москва, 1986.
17. Журавлев В. К., Авксентьева А. Г. К фонологической интерпретации балто-славянских интонаций. В кн.: *Baltistica: I priedas*. Vilnius, 1972, с. 233 – 242.
18. Иванов Вяч. Вс. Заметки по индоевропейской акцентологии. В кн.: *Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод*. Москва, 1989, с. 110 – 115.
19. Иллич-Свитыч В.М. *Именная акцентуация в балтийских и славянских языках*: Судьба акцентуационных парадигм. Москва, 1963.
20. Кацнельсон С. Д. *Сравнительная акцентология германских языков*. Москва, Ленинград, 1966.
21. Кузьменко Ю. К. *Фонологическая эволюция германских языков*. Ленинград, 1991.
22. Макаев, Э. А. Система гласных фонем в германских языках. В кн.: *Сравнительная грамматика германских языков*. В 4-х т. Т. 2. Москва, 1962.
23. Мартине А. *Принцип экономии в фонетических изменениях*: Проблемы диахронической фонологии. Пер. с франц. А. А. Зализняка. Москва, 1960.
24. Мейе А. *Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков*. Пер. с франц. Д. Кудрявского; под ред. и с прим. Р. Шор. Москва, Ленинград, 1938.
25. Мельничук А. С. Корень *kes- и его разновидности в лексике славянских и других индоевропейских языков. В кн.: *Этимология 1966*. Москва, 1968, с. 194-240.
26. Одри Ж. Типология и реконструкция. В кн.: *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XXI. Москва, 1988, с. 183 – 190.
27. Павидис С. *Этимологическое микрогнездо *цġ-t- “гнуть, крутить, вертеть” в германских и балтийских языках (к вопросу германо-балтийских языковых отношений)*: Дисс. ... канд. филол. наук. Москва, 1992.
28. Павидис С. Теория индоевропейского корня и формирование этимологического макрогнезда при помощи моделирования фономорфологических вариантов корня в германских языках. В кн. *Научные труды: Лингвистика*. БАИ. Под ред. В. Суркова, И. Диманте. Рига, 2004, с. 34-45.
29. Павидис С. Рефлексы краткого слогового ие. *ġ в германских и балтийских языках. В кн.: *LU Rakstu 707. sēj. Valodniecība. Slāvistikas tradīcijas Baltijā*. Atbild. red. I. Koškins. Rīga, 2005, lpp. 86 – 94.
30. Плоткин В. Я. *Эволюция фонологических систем*. Москва, 1982.
31. Прокош Е. *Сравнительная грамматика германских языков*. Москва, 1954.
32. Савченко А.Н. *Сравнительная грамматика индоевропейских языков*. Москва, 1974.
33. Семереньи О. *Введение в сравнительное языкознание*. Москва, 1980.
34. Серебренников Б. А. *Вероятностные обоснования в компаративистике*. Москва, 1974.

35. Соссюр Ф. де. *Труды по языкознанию*. Пер. с франц.; ред. А.А.Холодовича. Москва, 1977.
36. Трубецкой Н. С. *Основы фонологии*. Пер. с нем. А. А.Холодовича; ред. С. Д. Кацнельсона. Послеслов. А. А. Реформатского. Москва, 1960.
37. *Этимологический словарь славянских языков* [ЭССЯ]. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. М. Трубачева. Москва, 1974.
38. Фортунатов Ф. Ф. *Избранные труды*. В 2-х т. Т.1. Москва, 1956.
39. Чекман В. Н. *Исследования по исторической фонетике праславянского языка: Типология и реконструкция*. Минск, 1979.
40. Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике. В кн.: *Новое в лингвистике*. Вып. 2. Москва, 1962, с. 231 – 278.
41. Brugmann K. *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*: Auf Grund des fünfбändigen „Grundrisses der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen von K. Brugmann und B. Delbrück“ verfaßt. Strassburg, 1904.
42. Dieter F. (Hrsg.). *Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte*. Leipzig, 1901.
43. Endzelīns J. *Darbu izlase*. 4 sēj. 2. sēj. Rīga, 1974.
44. Günthert H. *Indogermanische Ablautprobleme*. Strassburg, 1916.
45. Hirt H. *Indogermanische Grammatik: Der indogermanische Vokalismus*. Heidelberg, 1921.
46. Jēgers B. Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer Völker. In: *KZ*. Bd. 89. 1966. S. 6 – 162.
47. Karstien H. *Infixe im Indogermanischen*. Heidelberg, 1971.
48. Kluge F. *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 20. Aufl.; bearb. von W. Mitzka. Berlin, 1967.
49. Kurylowicz J. *L'apophonie en indo-européen*. Wrocław, 1956.
50. Lidén E. Ein balto-slavisches Anlautgesetz. In: *GHA*. Göteborg, 1899. Bd. 5., S. 4 – 31.
51. Markey Th. L. Changes typologies: Questions and answers in Germanic, In: *German dialects (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic theory. Series IV. Current issues in linguistic theory. Ed. by B. Brogyanyi and Th. Krömmelbein. Vol. 38. Amsterdam, 1986, p. 403–425.*
52. Meier-Brügge M. *Indo-European Linguistics*. With contributions by M. Fritz and M. Mayrhofer. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 2003.
53. Müllenbachs K. *Lettisch – deutsches Wörterbuch*. In 4 Bdn. Red., ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelīns. Rīga, 1923 – 1932.
54. Ozols A. *Veclatviešu rakstu valoda*. Rīga, 1965.
55. Persson P. *Beiträge zur indogermanischen Wortforschung*. 2 Bde. Bd. 1. Uppsala, Leipzig, 1912.
56. Pfeifer W. (Hrsg.) *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 3 Bde. Erarb. von einem Autorenkollektiv des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Bd. 3. Berlin, 1989.
57. Schmitt-Brandt R. *Einführung in die Indogermanistik*. Tübingen, Basel, 1998.
58. Shevelov G.Y. *A Prehistory of Slavic: the historical phonology of Common Slavic*. New York, 1965.
59. Schmalstieg W. R. A Balto-Slavic and Indo-Iranian Parallel: the non-Existence of Schwa Indogermanicum (or Laryngal) in the So-called Long Sonants. In: *Baltistica*. Nr. IX (I). 1973, p. 7 – 14.
60. Szemerényi O. *Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft*. Darmstadt, 1970.
61. Zinkevičius Z. *Lietuvių kalbos istorija: Lietuvių kalbos kilmė*. Vilnius, 1984.

Сокращения

авест. - авестийский

арм.	- армянский
гот.	- готский
др.-инд.	- древнеиндийский
дрвн.	- древневерхненемецкий
др.-прусс.	- древнепруссский
ие.	- индоевропейский
лат.	- латинский
лит.	- литовский
лтш.	- латышский
ст. - сл.	- старославянский
тох.	- тохарский
умбр.	- умбрский

Kopsavilkums

Raksts veltīts ie. garā zilbiskā * \bar{r} refleksiem ģermāņu un baltu valodās. Tiek pētīta šo fonēmu izcelsme, kā arī to refleksi saistībā ar noteiktām skaņu mijas pakāpēm. Indoeiropiešu zilbisko skaņu teorijas pamati, kurus izveidoja jaungramātiķi 19. gadsimtā, šodien nepieciešams reinterpretēt, balstoties uz modernās lingvistikas sasniegumiem.

Atslēgvārdi: ie. īsaīs un garais zilbiskais * \check{r} , garā zilbiskā * \bar{r} refleksi, ģermāņu valodas, baltu valodas, skaņu mijas pakāpes.

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag werden Reflexe der langen silbenbildenden Sonanten ie. * \bar{r} im Germanischen und Baltischen behandelt. Es wird der Versuch unternommen, die Herkunft des ie. * \bar{r} im Germanischen und Baltischen zu erschliessen sowie den möglichen Bezug dessen Reflexe zu den Stufen des ie. Ablauts herzustellen. Die Grundlagen der Theorie der ie. Silbenbildenden haben Junggrammatiker im 19. Jahrhundert gelegt, aber diese Erkenntnisse bedürfen einer neuen Interpretation aus der Sicht der modernen Linguistik.

Schlüsselworte: lange und kurze ie. Silbenbildende * \check{r} , Reflexe des langen ie. * \bar{r} , germanische Sprachen, baltische Sprachen, Ablautstufen.

Примечания

¹ Подробнее об оппозиции долготы-краткости слогаобразующих в индоарийских языках см. Т.Я. Елизаренкова Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков. Москва Наука. Главная редакция восточной литературы, 1974. С. 91 – 103.

² Подкинакемами В.Я. Плоткин (1982, с. 12–13) понимает мельчайшие фонологические единицы, обеспечивающие иннервационный механизм антропофонической артикуляционно-перцептивной деятельности, а совокупность кинакем, функционирующих в каждом отдельном языке, представляет собой парадигматическую систему. Кинакемы являются первой по рангу фонемой и делятся в зависимости от функционального, субстантного и структурного планов на категории.

³ О семантических различиях в балт. лексемах см. Jēgers B. Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer Völker//KZ. 1966. Bd. 89, S. 6–162.

Русско–ганзейские дипломатические акты как источник для этимологических решений

*Krievu un Hanzas līgumu nozīme etimoloģijas uzdevumu
risināšanā*

*Russisch–Hansische Vertragsurkunden als Quelle für
etymologische Lösungen*

Екатерина Сквайрс

Maskavas Lomonosova valsts universitāte, 119991,
Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, строение 51,
skvairs@yandex.ru

В статье предложена попытка разрешения одной из этимологических задач при помощи данных дипломатических текстов XIII–XV вв. Существующие этимологии др.-русск. *пакость* принципиально расходятся как в формальном анализе этого слова, так и в понимании развития его семантической структуры, без верного понимания которой невозможен правильный перевод формулы др.-русск. *бес пакости*, встречающейся в многочисленных древнерусских грамотах. Анализ общеразговорных контекстов из новгородско-псковских источников, а также случаев употребления слова *пакость* в берестяных грамотах и правовых документах позволяет очертить семантические рамки «препятствие, противодействие». Однако в составе правовой формулы это слово варьируется с существительными, имеющими иное значение, например, со словом *хитрость* (ср. формула безо *всякои хитрости*). Сравнение с материалом из нижненемецких переводов русско-ганзейских договоров показало, что общая семантическая область всей группы вариантов в обоих языках ограничена семантикой противительности, выраженной в значениях «препятствие», «прекословие», что в свою очередь подтверждает правильность этимологий др.-русск. *пакость*, построенных на основе выделения в нем корня **пак*.

Ключевые слова: этимология, лексическая семантика, средненижненемецкий язык, древнерусский язык, дипломатические тексты, формулы.

В работе предложена попытка разрешения при помощи данных дипломатических текстов одной из интересных, но нелегких этимологических задач. Речь идет об установлении этимологической основы древнерусской формулы *бес пакости*. Прояснение ее – как будет показано далее – неоднозначной этимологии необходимо для уточнения ее семантики и для ее правильной передачи в процессе перевода средневековых грамот на современный русский язык.

Формула др.-русск. *бес пакости* встречается в текстах древнерусских договорных грамот в составе формулы, сопровождающей изложение предмета договора, например, *приехати и отъехати бес пакости* или *торговати бес пакости* и др.:

1) Договорная грамота Новгорода Великого: “*А купцам немецким путь чист сквозь Новгородскую волость, горою и водою, в Новгород приехати и отъехати бес пакости*” (Валк, 1949, № 83);

2) 1440-1447: Договорная грамота литовского великого князя Казимира с Великим Новгородом о мире: “*А што моихъ людеи...тымъ путь чистъ изо всеи моеи отцины, торговати имъ в Новѣгородѣ бес пакости по старинѣ... Такжеже и новгородчѣмъ изо всеи Новгородскои волости торговати бес пакости по всеи Литовскои земли*” (Валк 1949, № 70).

Входящее в эту формулу друс. *пакость* возводится этимологами к о.-слав. **pakostь*, для которого, однако, предлагаются различные объяснения, коренным образом расходящиеся как в интерпретации его формы (то есть его фонетико-морфологического состава и словообразовательной структуры), так и в толковании его семантики.

Немалую трудность при этимологическом анализе этого слова представляет отсутствие исходных однокоренных лексем, обладающих достаточно широкой употребительностью и сочетаемостью для того, чтобы на их материале можно было сделать надежный вывод о семантике как самого их общего корня, так и производного существительного *пакость*. Обнаруживаемые для такого сопоставления древние и современные русские лексемы являются предлогами, в лучшем случае наречиями, засвидетельствованными в ограниченном числе свойственных им сочетаний и выражений, дающих недостаточную информацию о семантическом потенциале корня. Неудивительно поэтому, что авторы этимологий привлекают для сопоставлений немногочисленные и притом различные лексемы, приходя подчас к противоположным результатам.

Например, М. Фасмер (опираясь на А. Мейе, и Ф. Миклошича) исходит из фонетической формы **pakostь*, которую сопоставляет со стсл. *опако*, *пакы*, и интерпретирует значение существительного как «превратность» (Фасмер с. 189; ср. Meillet, Et. с. 283; Miklosich с. 224). Похожим образом понимает форму **pakostь* и А. Г. Преображенский. Он производит рассматриваемое существительное от наречия **пако*, принадлежащего к группе *опако*, *пакы*, *паче*, и выводит для корня первоначальное значение «навыорот, противоположно, обратно» (Преображенский 1958, с. 725). Он же называет в качестве этимологически родственных наречия *пакы*, *пакъ*, *паки*, *пако* «обратно, назад; опять, наоборот; ... в противном случае» (там же, с. 726), а также ряд семантически выразительных производных наречий и существительных *наопако* «наотмашь», твер., сиб. *опакишь* «выворот, изнанка», *опакиша*, друс. *опако*, *опаки* «назад, напротив, наоборот» и др. (там же, с. 690). Приводятся диалектные северные наречия *опакъ*, *опако* «назад, задом, навзничь» (там же, с. 689), а также выражение *на опако*, для которого на основании контекстов, встречающихся в литературных памятниках («Книга о ратном строе», 1647 г.), выводится значение «наоборот», «напротив». В качестве более отдаленных параллелей привлекаются индоевропейские лексемы, важные для понимания семантики русского слова: скрт. *apākas* «в стороне лежащий, удаленный», *apākā*, *apākād* «в стороне, далеко», арм. *haka-* «противо-» (как первый член в сложениях). Сюда же автор относит и лат. *opācis* с его значением «тенистый», развившимся из первоначального значения «противоположный, отвращенный от солнца». Основой для развития у разнообразной семантики, представленной у продолжений этого корня, следовательно, признается пространственное

значение, связанное с удаленным, отвернутым положением, противоположной направленностью. По поводу объяснения формы автор словаря замечает: «*Группа трудная: трудно определить составные части*» (там же, с. 652).¹

Согласно другой точке зрения основным и исходным в семантической структуре слов, родственных рус. *пакость*, является значение «нечто гадкое, мерзкое, неприличное», а также конкретно – «*поступок, совершаемый с целью повредить кому-л.*» (Черных т. 1, с. 615). Выдвигая эти значения в качестве основных, Черных так же, как и ранее упомянутые исследователи, восстанавливает для него форму ст.-слав. **pakostь* и в принципе допускает возможность сближения со словами на *пак-*, *онак-* (то есть производными с суффиксом *-ость*), однако предлагает иное, с его точки зрения более предпочтительное, решение. Привлекая для анализа в.-луж. *pacosć* «костный нарост», чеш. *pakostnice* «подагра» и считая основным уже приведенное значение, он полагает старшим для всех параллелей значение «костный нарост», выводя из него в качестве вторичного значение в древнерусском (с XI в.) и стсл. *пакость* «вред», «болезнь» (в частности, о проказе). Из него, по всей видимости, предполагается дальнейшее семантическое развитие в более общем смысле – «разорение», «несчастье», «зло», «обида», «скверный поступок». Таким образом, объяснение, которое выдвинул Черных, предполагает иную семантическую реконструкцию и направление семантического развития, противоположное тому, которое приписывает корню и его продолжениям М. Фасмер и А. Преображенский.

Действительно, в довольно широкой семантической области, которую охватывают своими значениями лексемы, содержащие фонетический комплекс *пак-*, трудно однозначно выделить одну ее часть, которая являлась бы исходной для остальных значений. В этом можно убедиться, ознакомившись с лексемами, приведенными в словаре Преображенского, и их значениями. В русском языке он относит к интересующему нас словообразовательному гнезду лексемы *пакость* «скверна, гадость, нечистота», *пакостный* «скверный», *пакостник* «кто пакостит», *пакостить* «гадить» к друс. *пакость* «вред, зло, разорение, болезнь, мука», производное прилагательное *пакостьнь*, *пакостьникъ* «злодей, мучитель» и глагол *пакостити*; из болгарского сюда относятся *пакость* «вред», *пакостникъ* «вредитель», из сербского – *пакост* «злоба», *пакостити* «вредить» и многие другие. Старославянскому *пакость* он отводит значение “*molestia, damnum*” (Преображенский 1958, с. 725). В приведенном материале хорошо видно, что и пространственная семантика, и семы «вредить, делать наперекор», «гадить», «скверный», а также семантика, связанная с болезнью и другими невзгодами, разнообразно представлены в лексике отдельных славянских языков, не позволяя, однако, предложить единую семасиологическую модель, без колебаний положив в ее основу какое-либо одно исходное значение.

Неудивительно поэтому, что существуют совершенно иные модели, в основу которых положены не те значения, которые выбрали авторы упомянутых этимологий, а совершенно другие семы из числа реализованных в имеющемся лексическом материале. Например, значение «скверный» выдвигается в качестве основного: о.-сл. **pakostь* производится от исчезнувшей лексемы *кость* «скверна» на основании свидетельства русских диалектов: *костный* «пакостный, мерзкий, гадкий», *касть* «мерзость, гадость» (Шанский, Иванов, Шанская 1971, с. 322–323). Слово *кость* авторы этой этимологии связывают с прилагательным *кость*, а древность общей семантики всех этих лексем «мерзкий, гадкий; мерзость,

гадость» обосновывают наличием таких индоевропейских параллелей, как динд. *kastas* «дурной, злой». Как мы видим, эта этимология не только по-иному объясняет динамику плана выражения (развитие значения у слов данного гнезда), но и исходит из иного морфологического членения слова *пакость* как производного от *kostь*. Объяснение же, выдвинутое их предшественниками (как производного посредством суффиксации от наречия *пакъ*, *пакы*, *пако* «обратно, опять, наоборот») авторы считают менее вероятным как по семантическим, так и по словообразовательным критериям (там же, с. 323).

Есть также этимологии, в основу которых положено в качестве исходного значение «гадить», «осквернять», откуда выводится семантика «медицинских» производных («болезнь, связанная с неопрятностью»). В качестве формального решения выдвигается также морфологическая модель **kostь*, **kastь* «скверна» + преф. *pá-*. В. Даль объясняет происхождение слова *пакость*, сближая его с глаголом *пачкать* и ссылаясь на персидские параллели, он восстанавливает для существительного *пакость* базовое значение «скверна, мерзость, гадость», откуда в прилагательных и глаголах выводится значение «нечистый, оскверняющий», «неопрятный, кто марается под себя» (Даль т. 3, с. 10). Эта точка зрения находит поддержку в словаре В. И. Абаева, который сближает данные лексемы с чув. *пакā* «пакость», *пах* «кал, навоз» (Абаев т. 1, с. 417).

Следует оговориться, что против последнего сопоставления возражает О. Н. Трубачев. А в отношении сближения со словом *пачкать* М. Фасмер напоминает, что последнее является звукоподражательным образованием и потому не годится для обоснования исторических связей (Фасмер 1986, с. 223).

Как видно из этого краткого обзора мнений и различных этимологических решений, исследователи принципиально расходятся как в формальном анализе слова, так и в понимании развития его семантической структуры. Основные различия между ними сводятся к противопоставлению двух морфологических моделей о.-слав. **pakostь* и трех его семантических интерпретаций, которое можно кратко представить в виде следующей таблицы:

<i>пак-: opak-</i> с суфф. <i>-ость</i>	о.-слав. <i>*kostь</i> с преф. <i>pá-</i>
«превратность» (пакы: пако: опаки –) «обратно», «назад», «вновь» → <i>*«препятствие»</i> , <i>*«вред»</i> , → <i>*«гадость»</i> → <i>*«болезнь»</i> (Фасмер, Преображенский)	<i>*kostь</i> 1 о.-слав. <i>*kostь</i> «кость» <i>* «костный нарост»</i> → «болезнь» → «вред», «несчастье», «зло» (Черных)
	<i>*kostь</i> 2 от <i>*kostь</i> , <i>*kastь</i> «скверна» + преф. <i>pá-</i> (к динд. <i>kastas</i> «дурной») (Даль, Шанский и др.)

Выделив таким образом трудности в определении этимологии и семантики друс. *пакость*, которые остаются непреодоленными, попытаемся наметить новые подходы и способы решения, с помощью которых можно было бы привлечь к решению задачи новые данные и свидетельства, не применявшиеся авторами этимологических словарей.

Прежде всего, понадобится новое и более детальное обращение к текстам для уточнения конкретных контекстов и соответствующего им значения слова в древнерусском. Для данного исследования особенно важно рассмотреть случаи употребления в новгородских источниках не только интересующей нас формулы, но и всех засвидетельствованных здесь однокоренных слов, поскольку общий фон семантического развития лексики, содержащей комплекс *пак-*, мог иметь в новгородском узусе особенности по сравнению с употреблением в остальном древнерусском. На этом фоне нетерминологического (неюридического) словоупотребления в новгородском диалекте можно будет точнее определить семантику формулы *бес пакости* в жанре грамот. Наконец, еще не были использованы свидетельства иноязычных источников: о семантике русского существительного немало скажут нижненемецкие эквиваленты, переданные ганзейскими переводчиками. При этом следует доверяться переводам лишь после придирчивого анализа их жанровых особенностей: анализируя слово в тексте грамоты, необходимо помнить, что особенности жанра и специфические контексты заставляют его функционировать здесь иначе, чем в общеразговорном употреблении, в том числе может меняться и его семантика². По этой причине ниже будет уделено особое внимание анализу семантики эквивалентов лексемы *пакость* в нижненемецких грамотах.

Существительное *пакость* встречается в источниках, в которых упоминается Новгород, в различных контекстах. В большинстве случаев употребление этого слова связано с текстами из правовой сферы (договорными грамотами), в которых данная лексема может иметь специфическое, характерное для правовых текстов значение, определение которого, собственно, и составляет цель данного анализа. Эти контексты, следовательно, должны быть оставлены для последующего этапа анализа. Что же касается общеразговорной, неправовой сферы, то существительное встречается гораздо реже, чем наречия. В берестяной грамоте I пол. XIV в. из Твери, в которой речь, однако, идет о взаимоотношениях с новгородцами, находим: *пуцаю ли рожже новгороцамо безо пакости ти ты пришли* (Твер. 2, цит. по: Зализняк 1995, с. 472). Слово *пакость*, ж.р. в выражении *безо пакости* несомненно имеет значение «препятствие, противодействие», ср. перевод, приведенный Зализняком: «*пропускают ли рожь для новгородцев беспрепятственно*».

Насколько распространенным было это значение среди рассматриваемых однокоренных слов в новгородском узусе и какие еще значения из числа тех, которые были проиллюстрированы выше, реализованы здесь продолжениями этого корня, можно выяснить, обратившись к доступным нам письменным свидетельствам. Для того чтобы представить общеразговорное (нетерминологическое и вообще в жанровом отношении неспецифическое) употребление, лучше всего собрать материал берестяных грамот, разнообразных по представленным в них тематике и контекстам и наиболее близким к устному узусу (то есть связанным с тем общим фоном живого семантического развития, о котором сказано выше).

Корпус новгородских берестяных грамот содержит лишь случаи употребления однокоренных наречий и служебных слов. В следующей таблице они приведены с указанием перевода соответствующих мест из грамот, данного в исследовании А. Зализняка:

Форма	Контекст	Перевод (по: Зализняк 1995)	Источник цитаты	Источник перевода
<i>пако</i>	...ты <i>пако</i> брате испытывае которое слово звело на мя...	«когда же ты, брат, проверишь, в каких словах»	Гр.Б. № 531	Зализняк 344
<i>пакъ</i>	...и ту <i>пакъ</i> дружина...	«и как раз там дружина»	Гр.Б. № 69	Зализняк 416-421
<i>пакы ли</i>	... <i>пакы</i> ли не оуправиши того...	«если же не исполнишь этого»	Гр.Б. № 705	Зализняк 349
	<i>паки</i> ли, <i>пакы</i> ли		Гр.Б. № 421	Зализняк 260
<i>пакы жь ли</i>	... <i>пакы жь ли</i> по[сл]и[та]...	«в противном случае пошлите»	Гр.Б. № 510	Зализняк 384-385
<i>пакы ли али</i>	... <i>пакы</i> ли али ...	«в противном случае»	Гр.Б. № 295	Зализняк 388-389

Учитывая, что выдержки перевода взяты из литературного текста, передающего содержание грамоты целиком, а потому не предназначенного для точной передачи буквального значения интересующих нас служебных и полуслужебных единиц и конструкций, можно все же сказать, что все они указывают на семантику противительности, вводя в повествование предложения или обороты, выражающие противоположную возможность или противоположное условие. В применении к полнозначным лексемам эта семантика должна была бы быть реализована как значение «противодействие, препятствие, противоположность». Никаких признаков реализации таких сем, как «скверна», «вред», «гадость», «болезнь» (в том числе «болезнь, связанная с неопрятностью») в материале новгородских источников нет.

Кроме свидетельств новгородских источников, к сожалению, относящихся не к самому существительному *пакость*, а к соответствующим наречиям, в распоряжении исследователей имеется материал русско-ганзейских разговорников, в которых встречаются как полнозначное существительное, так и глагол, причем для сведения немецкого читателя приведен их перевод на (нижне-)немецкий язык. В нижненемецком разговорнике Тонниса Фенне 1607 г. глагол *pokastiti* встречается дважды в значении «вредить» (= *schaden*: Fenne 163, 3 и 283, 3), но четырежды в значении «препятствовать» (= *hindern*: Fenne 165, 21; 199,1; 383, 3; 432, 1). В несколько более ранней, также нижненемецкой, «Русской книге» находим глагол *pakostit'* (*Ein Rusch Boeck*, 63, 16, S. 92; 249); самый старый из сохранившихся ганзейских разговорников – верхненемецкий разговорник Томаса Шрове 1546 г. – также содержит глагол *пакоституми* (*Schröue* 7, 3) в том же значении.

Как известно, вопрос об атрибуции ганзейских разговорников, созданных для немецких купцов, ведущих торговлю с северно-русскими городами, в первую очередь с Новгородом, пока не решен. Наиболее вероятным считается их происхождение из Пскова, хотя в целом предполагается существование до начала XVII в. развитой традиции, таких лингводидактических руководств, которая не могла обойти Новгород. С некоторой осторожностью, связанной с возможным происхождением этих свидетельств из Пскова, а не из Новгорода, все же следует принять во внимание, что и они указывают на семантическую область «препятствие» (а также «вред», возможно как результат препятствования).

На таком фоне общего семантического развития лексем с комплексом *нак* в словоупотреблении жителей средневекового Новгорода и с опорой на свидетельства из псковско-новгородских ганзейских источников можно теперь перейти к рассмотрению материала правовых письменных источников и к анализу семантики интересующей нас формулы.

Формула *бес пакости* встречается, начиная с самых древних, в следующих договорных грамотах (в хронологическом порядке):

1) 1191–1192: Договорная грамота Новгорода с Готским берегом и немецкими гостями: ... *ходити новгородцю в миръ... в нѣмьскоу землю и на Гъцкъ берегъ такоже ходити нѣмьсьемъ ... в Новъгородъ безъ пакости, не обидимъ ни кымже...*

... *а в томъ мироу ити гостю домовъ бес пакости* (LECUB, VI, Nr.3010; Валк, № 28);

2) 1262: Договор новгородского князя Александра Ярославича и его сына Дмитрия:

Новгороцмъ гостити на Гоцкыи берегъ бес пакости, а нѣмьсьемъ и гтьмъ гостити в Новъгородъ бес пакости... (LECUB 3033; Валк, Nr 29);

3) 1301: Охранная грамота князя Андрея немецким купцам: *княжи Гости ехати бесъ пакости, на Божии ручѣ и на княжи и на всего Новагорода...* (Валк, № 33);

4) 1323: Договорная грамота Новгорода с Готским берегом (Ореховецкий мир): *...гости гостити бес пакости из всеи нѣмьсьной землѣ из Любка, из Готского берега и Свѣиской землѣ по Невѣ в Новгородъ...*(Валк № 38).

Ознакомление с примерами убеждает, что все случаи употребления слова *пакость* в процитированных грамотах находятся в пределах той семантической области, которая была выше очерчена на основе анализа общеразговорных контекстов из новгородско-псковских источников. Как и в берестяных текстах из Новгорода и ганзейских разговорниках, в цитированных грамотах 1191–1301 гг. смысл слова *пакость* не выходит за рамки семы «препятствие, противодействие». Что же касается других предложенных этимологами значений, то в данных контекстах ни одно из них не оказалось реализовано: совершенно ясно, что речь идет о беспрепятственном проезде или о торговле без противодействия со стороны партнеров, а не о том, чтобы ганзейцам не чинилось каких-либо гадостей, ущерба или иного вреда.

Казалось бы, к такому выводу можно было прийти, не прибегая к свидетельствам других жанров и не анализируя различных этимологических решений: значение «препятствие» вытекает из содержания самих грамот. Однако это лишь на первый взгляд столь очевидно, тогда как в действительности смысл, приобретаемый словом в тексте столь сложного и условного жанра, как договорная грамота, может заметно расходиться с его словарным значением.

Дело в том, что в составе этой формулы слово *пакость* варьируется с другими существительными, очевидно, выполняющими ту же семиотически-правовую задачу, однако не являющимися его синонимами в общем лексикологическом смысле, например, со словом *хитрость*:

1) Договорная грамота Великого Новгорода с Ливонским орденом о мире и о разрешении спорных дел 1421 г. содержит это слово в той же части и функции,

в каких вышеприведенные грамоты имели вариант со словом *пакость*: *А сеи миръ имъ держати крѣикъ на обѣ половины по хрестному челованею бес хѣтлости* (Валк, № 60).

В несколько иной функции (в формуле заверения), но, очевидно, в том же смысле представлен этот вариант в следующих примерах:

2) 1373: Договорная грамота Новгорода с Любеком и Готским берегом о пограбленном разбойниками товаре: *На томъ Яковъ да Иванъ из Любка, да Григорѣи да Иванъ из Гоцького берега хрсть цѣловалѣ про тыи товаръ безъ хѣтлости* (Валк, № 45).

3) 1392: Договор Великого Новгорода с ганзейскими городами (Нибуров мир): *А на том дѣлѣ ... посадникъТымофѣ Юревиц и тысяцькы Микита Федоровицъ на томъ хрсть целовали за весь Новъгородъ какъ то держати по старынѣ в хрестное цолование, безо всяко[и] хѣтлости. И такоже послы заморьскыи из Люпка Иванъ Нибуръ, из Гоцького берега Иньца Вландерь... из Ригы Тилька Нибрюгѣ... хрсть целовалѣ по сому доконьцанию по старому хрестному цолованию держати безо всякои хѣтлости* (Валк, № 46).

В этих примерах встречается формула *безо всякои хѣтлости*, очень близкая по структуре и по своему смыслу анализируемой здесь формуле *бес пакости*. Буквально приведенную цитату из Нибурова мира можно понимать таким образом, что речь в ней идет о том, чтобы «что-то подтвердить, в чем-то клятвенно согласиться без обмана». Принимая во внимание особенности жанра грамоты, в число которых входит варьирование элементов в формулах при сохранении неизменным общего значения и семиотического смысла формулы и ее функции в тексте, необходимо допустить возможность того, что слово *пакость* в составе формулы приобретает функционально детерминированные смысловые оттенки, сближающие его с вариантом *хѣтлость*. Если с этой стороны взглянуть на семантический потенциал слова *пакость*, находящегося в отношениях варьирования со словом *хѣтлость*, то предлагавшиеся этимологами толкования «вред», «зло» и подобные им уже не кажутся лишенными подтверждения со стороны источников. Грамоты, содержащие в одних и тех же частях текста и в одних и тех же функциях оба варианта формулы, свидетельствуют о том, что различие в лексическом оформлении этих вариантов словом *пакость* или *хѣтлость* не меняет существенным образом ее общего смысла и семиотической значимости. Проще говоря, лексемы, вступающие в варьирование в составе формулы, делают это на правах условных синонимов.

Наличие варьирования может означать, что слова *хѣтлость* и *пакость* обладали общими семантическими компонентами, делающими их сближение возможным. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что слово *пакость* действительно изначально имело в своей семантической структуре сему «зло», «вред» или подобную (которую восстанавливали Черных и Шанский, Иванов, Шанская), но она либо была оттеснена на периферию его семантики и подавлена, либо просто не находила иной реализации в речи, кроме как в грамотах. Таким образом, условно синонимичное употребление в договорных грамотах лексем *хѣтлость* и *пакость* косвенно говорит в пользу тех этимологий, которые прежде представлялись нам менее надежными.

Однако тот же отмеченный факт функциональной равноценности обоих слов в грамотах может быть не результатом их изначальной семантической близости, а напротив, причиной и основой такого сближения их значений. Наблюдения за

языком традиционных средневековых жанров показывают, что закрепленное традицией стойкое употребление в каком-либо жанре одних и тех же слов может привести к созданию новых связей между этими словами. На основе отношений между словами, формируемых в пределах их жанрового функционирования, «прорастают» вторичные «этимологические» связи.³ Следует к тому же учесть, что в случае лексемы *пакость* для установления вторичных связей, возможно, не нужны семантические инновации: для этого может быть актуализирован имеющийся латентный семантический потенциал. Поскольку в данном случае не исключалась возможность контаминации в древнерусском слове двух или даже трех этимонов (суффиксального **pakostь* и двух омонимичных форм **pá* + *kostь*), то у слова *пакость* могли иметься немалые резервы для такой актуализации.

Русско-ганзейские договоры содержат в своих нижненемецких переводах несколько таких варьирующих эквивалентов для формул древнерусских оригиналов. Наиболее древним примером может послужить грамота Ярослава 1269 г. в двух переводах несохранившегося древнерусского договора:

So solen se uaren sunder hindernisse tote ketlingen uppe dhen olden uredhe (L: РГАДА, Фонд 1490, оп. 1, № 5).

So solen si uaren sunder hindernisse totte ketlingen uppe dhen olden uredhe (SPb.: РГАДА, Фонд 1490, оп. 1, № 6).

Перевод: «То пусть едут без препятствий до Котлина по старому миру»

Договор 1392 г. (Нибуров мир) сохранился в нескольких переводах, содержащих неоднократное упоминание формулы:

Lübeck, Hs. L	Lübeck, Hs. L 2	Reval, Hs. R1	Reval, Hs. R2
<i>sonder alle behendicheyt</i> <i>sonder anklage</i> <i>sonder yenigherleye</i> <i>hindernisse</i> <i>sonder yenigher leye</i> <i>hindernisse</i> <i>sonder yenigherleye</i> <i>behendicheyt</i>	 <i>sonder Jenigerleie</i> <i>behendichede</i>	<i>sonder yenige</i> <i>bohendicheit</i> <i>sonder kyff</i> <i>sonder schaden</i> <i>sonder schaden</i> <i>sonder allerleye</i> <i>bohendicheit</i>	<i>sonder jenegerleie</i> <i>behendycheit</i> <i>sonder jenegerleie</i> <i>behendycheit unde</i> <i>hindernitze</i> <i>sonder allerleie</i> <i>hindernitze</i> <i>sunder jenegerleie</i> <i>behendycheit</i>

Сведя воедино все варианты лексем, как содержащихся в оригинале договора, так и употребленных его ганзейскими переводчиками (рукописи L, L2, R1, R2), мы получим представление о той семантической области, которую очерчивают варианты в том и другом языке и, кроме того, получим картину соответствий между вариантами перевода и оригинала:

	L	R1	R2	Оригинал
1	behendicheyt	bohendicheit	Behendycheit	безо всякой хитрости
2	anklage	kyff	-	бес пакости
3	hindernisse	schaden	behendycheit unde hindernitze	бес пакости
4	hindernisse	schaden	Hindernitze	безо всяко(и) хитрости
5	behendicheyt	bohendicheit	Behendycheit	безо всякой хитрости

Как ясно видно из таблицы, немецкие переводчики передают данную формулу разнообразнее, чем древнерусский оригинал: на две русские лексемы в двух нижненемецких переводах приходится по 4 варианта, а в третьем переводе – два варианта, но их распределение не соответствует варьированию в русском оригинале. Второе важное наблюдение заключается в том, что во всех текстах лексические варианты распределены по-разному, так что невозможно установить ни русско-нижненемецких коррелятов, ни даже значимой корреляции между немецкими переводами. Для передачи древнерусского слова *пакость* используются все пять различных нижненемецких лексем, в том числе даже одна парная формула: 1) *hindernisse* «препятствие»; 2) *behendycheit (unde hindernitze)* «ловкость, хитрость (препятствие)»; 3) *schaden* «вред»; 4) *kyff* «возражение, прекословие»; 5) *anklage* «жалоба, обвинение» – варианты расположены в порядке частотности их употребления в немецких грамотах. Важно также отметить, что три из числа пяти нижненемецких лексем употреблены и для перевода русского *хитрость*.

Сравнение списков русских эквивалентов и их взаимной дистрибуции ясно показывает, что и в нижненемецком, и в древнерусском варьирование языка грамот приводит к тому, что лексемы употребляются без учета особенностей их словарных значений, то есть как условные синонимы. Рамки этой условности, как уже оговорено выше, установлены жанром правовых текстов официально-делового письма.⁴

При общей пестрой картине лексического варьирования в материале все же просматривается общая семантическая область, включающая различные значения с общей семой противительности, препятствования: «препятствие» как таковое, либо препятствование словесное («прекословие», «жалоба, обвинение»), либо недружественное противодействие (обман или нанесение вреда). Немецкие переводчики, следовательно, понимают и толкуют древнерусское слово *пакость* как «препятствие, прекословие, вред».

Подобно тому, как в отношении русского слова *пакость* нас интересовал общий фон разговорного узуса жителей Новгорода, так и для немецкой формулы полезно представить себе тот более широкий круг варьирования, внутри которого она развивалась в узусе северонемецких канцелярий.

Прежде всего, здесь следует упомянуть лексемы соответствующих латинских формул, явившихся образцом и источником для создания формульного репертуара на родном языке. Латинские прототипы немецкой формулы можно найти непосредственно в латинских грамотах или в виде заимствований из романских языков. Одной из распространенных формул ганзейских грамот на латинском языке является формула *sine impedimento* «без препятствия», кроме того, в немецких

текстах встречается заимствованный элемент *subtil-*: ср. *mit nenerleyen subtilheyte ofte ander behendichheit* (Lappenberg 1851, с. 110).

Что касается варьирования данной формулы в немецком языке за пределами русско-ганзейских языковых контактов, то помимо уже рассматривавшихся немецких существительных, в правовом узусе нижненемецких канцелярий Германии встречаются и другие лексемы, некоторые из которых представлены в следующих примерах, взятых из грамот города Гальберштадта:

[1365–1386]: *ane jenigherlye hinder eder wedersprake*

[1365–1386]: *ane jenigherlye hinder eder vortoch...*

1402: *ane alle[n] vortoch unde hinder...*

1402: *to holdene ane alle arghelist...* (Skvairs 2003).

В процитированных грамотах содержится четыре дополнительные лексемы, однако и они находятся в пределах уже очерченной выше семантической области, сгруппированной вокруг семы «препятствие»: они обозначают препятствие (*hinder*), либо препятствование делом (*vortoch* «прово́лочка») или словом (*wedersprake* «прекословие»), либо недружественное поведение, наносящее вред (*arghelist* «злоба»).

Все обнаруженные нами западные (нижненемецкие и латинские) лексические варианты, выступающие в формуле «без пакости», можно сгруппировать соответственно выделенным семам. Ниже в таблице верхний ряд занимают латинские лексемы, в среднем ряду расположены все собранные нами нижненемецкие варианты; в каждой колонке собраны слова с одним и тем же значением (в нижней строке указано это буквальное значение, а не семантика правовой формулы):

sine impedimento	subtilheyte		
hinder, hindernisse	arghelist behendychheit	vortoch	wedersprake, kyff anklage
«без препятствия»	без хитрости	*без проволочки	*без прекословия

Подытоживая подробное рассмотрение нижненемецкой лексики, выступающей в правовых текстах (грамотах) в формулах, соответствующих русской формуле «без пакости», можно отметить следующее. Как в русских, так и в нижненемецких грамотах наблюдается лексическое варьирование, при котором в анализируемой формуле употребляются семантически неоднозначные лексемы, в данном жанре, однако, выступающие как условные (формульно детерминированные) синонимы. Число этих лексем различно в обоих языках, и все они варьируются свободно, не обнаруживая корреляции между собой. Таким образом, значение русской лексемы невозможно определить на основании индивидуальной семантики какого-либо конкретного нижненемецкого эквивалента, однако общая семантическая область всей группы вариантов в обоих языках одна и та же. На материале западных грамот удастся выяснить, что эта семантическая область ограничена семантикой противительности, выраженной в значениях «препятствие», «прекословие», различных препятствующих действий, при наличии периферийного компонента, обозначающего недружественное отношение («злоба», «обман»).

Поскольку лексические варианты этой формулы, которые встретились в древнерусских грамотах, должны, как мы убедились, располагаться в тех же

семантических пределах, что и установленные на материале нижненемецких переводов, то можно с полным основанием предположить, что и значение друс. *пакость* не выходит за эти пределы. Это значит, что древнерусскому слову *пакость* можно приписать значения вроде «препятствие», «препятствование», в крайнем случае «прекословие». Что же касается семантических реконструкций на основе значений «костный нарост», «болезнь, подагра», «неопрятность, связанная с болезнью», «гадость», «скверна», то анализ древнерусской формулы, проведенный здесь с опорой на нижненемецкий материал, ни в малейшей степени не подтвердил наличия таких значений у слова *пакость*. Поскольку эти семантические реконструкции предлагались на основе членения *па + кость* (Черных; Шанский, Иванов, Шанская; Даль), то приходится заключить, что привлеченный нами материал опровергает эти этимологии и с формальной стороны. Обращение к материалу русско-ганзейских грамот XII–XV вв. позволило получить данные, говорящие в пользу вычленения в друс. *пакость* корня *пак-* с общей противительной семантикой, которая наряду с уже указанными возможными значениями у существительного, реализовалась, как мы видели, в целом ряде производных наречий и служебных слов.

Восстановление семантики существительного *пакость* позволяет высказать рекомендации относительно правильного перевода формулы *бес пакости* в контексте договорных грамот. Прежде всего оказывается, что она не несет даже оттенков того значения, которое имеет слово *пакость* в русском языке сегодня. Его современный смысл следует признать результатом значительного изменения первоначальной семантики, а само слово – непригодным для перевода как древнерусской, так и нижненемецкой средневековой формулы. На наш взгляд, правильный выбор слова – такого, которое бы обладало указанным значением, – демонстрируют переводы нижненемецких грамот, предложенные А.Л. Хорошкевич⁵: *«Ходит новгородцу послу и любому новгородцу на (основании этого) мира в Немецкую землю и на Готский берег; также ходит немцам и готландцам в Новгород безо всяких препятствий, не обидим ...»*; *«... (на основании) мира идти гостю домой безо всяких препятствий ...»*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев В.И. *Историко-этимологический словарь осетинского языка*. Т. I. Москва-Ленинград, 1958.
2. Валк С. Н. *Грамоты Великого Новгорода и Пскова*. Москва-Ленинград, 1949.
3. Даль В.И. *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 3. Москва, 1955.
4. Зализняк А.А. *Древненовгородский диалект*. Москва, 1995.
5. Преображенский А.Г. *Этимологический словарь русского языка*. Т. I. Москва, 1958.
6. Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. *Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических контактов*. Москва, 2002.
7. Смирницкая О.А. Слова культуры как предмет этимологического анализа. В кн.: *Древнегерманская поэзия. Каноны и толкования*. Москва, 2005, с. 153–168.
8. Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка*. Т. III. Москва, 1986.
9. Черных П.Я. *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. Т. I–II. Москва, 1994.
10. Шанский Н.М., Иванов, В.В., Шанская, Т.В. *Краткий этимологический словарь русского языка*. Москва, 1971.

11. "Ein Rusch Boeck"= *Ein russisch-deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jh.* Hrsg. von A. Fałowski. Köln, Weimar, Wien, Böhlau, 1993. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B. Editionen. N.F. Bd. 3–18.).
12. "Einn Russisch Buch" *Thomas Schrouego* [Schroue]. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z XVI wieku. Część II. Transliteracja tekstu. Pod redakcją Adama Fałowskiego. Kraków, 1997.
13. Hammerich, L.L. / Jakobson, R. (1961–1986): *Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian*. [Fenne]. Copenhagen. Vol. I, 1967; Vol. II, 1970; Vol. III, 1985; Vol. IV, 1986.
14. *Hanserecesse*. [HR]. Die Recesse und andere Akten der Hansetage 1256–1537. I Abteilung, Bd. 1–8 (1256–1430): Hrsg. K. Koppmann. Leipzig-Köln 1870–1970. (Neuausgabe 1975).
15. Lappenberg, J.M. *Urkundliche Geschichte des Hansischen Stahlhofes zu London*. Bd. II. Urkunden. Hamburg, 1851.
16. *Liv-, Est-, Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten* [LECUB]. Hrsg. Bunge, H. Hildebrand. Riga, Moskau, 1853–1914.
17. Meillet, A. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. (Bibliothèque de l'école des hautes études. Nr. 139). Paris, 1902–1905.
18. Miklosich, F. *Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen*. Wien, 1886.
19. Skvairs, E.R. Halberstädter Urkunden aus der Wissenschaftlichen Bibliothek der Lomonossow Universität Moskau als Quelle zur Stadtsprachenforschung. В кн.: *Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Михаила Ивановича Стеблин-Каменского*. 10–12 сентября 2003 г. Отв. редакторы Н. Н. Казанский, Ю. К. Кузьменко и др. Санкт-Петербург, 2003, с. 221–233.
20. Squires, C. *Die Hanse und Novgorod: drei Jahrhunderte Sprachkontakt*. *Nd. Jb.* Heft 129, 2006, S. 43–87.

Копсавилкумс

Rakstā tiek piedāvāts kāda etimoloģiska uzdevuma risinājums ar 13. – 16. gs. Hanzas un Krievijas līgumu tekstu palīdzību. Senkrievu vārda пакость etimoloģija neapmierina, jo līdz šim nav izdevies pārliecinoši izstrādāt šī lietvārda ne formālo, ne semantisko aspektu. Līgumu tekstos bieži sastopamās senkrievu formulas *без пакости* interpretācijai ir principiāla nozīme senkrievu lietvārda пакость pareizai etimoloģijai. Novgorodas un Pleskavas avotu analīze parādīja, ka lietvārda пакость semantiku veido sēmas "šķērslis", "pretdarbība". Līgumu tekstos šis lietvārds variējas ar senkrievu lietvārdu *хитрость*, kas sastopams senkrievu formulā *безо всякой хитрости*. Salīdzinājums ar viduslejasvācu tulkojumiem parādīja, ka abu šo lietvārdu semantiskās struktūras pamatā ir pretstatījuma semantika, kas galvenokārt realizējas ar nozīmi "šķērslis", "pretīmrunāšana". Tas savukārt apstiprina senkrievu пакость etimoloģiju, kas bazējas uz saknes *pak-.

Atslēgvārdi: etimoloģija, leksiskā semantika, viduslejasvācu valoda, senkrievu valoda, līgumu teksti, formulas.

Zusammenfassung

Im Beitrag wird versucht, ein etymologisches Problem zu lösen anhand von Sprachzeugnissen aus niederdeutschen Übersetzungen von russischen Verträgen mit der Hanse aus den 13.–16. Jh. Das Wort aruss. *накость* hat keine eindeutige etymologische Erklärung; die vorhandenen Hypothesen unterscheiden sich sowohl in der morphologischen Analyse des Wortes, als auch in der ihm zugewiesenen Semantik (als Ableitung von **kost-* mit dem Präfix **pa-* oder als Abstraktum von **pak-*). Eine Entscheidung in beiden Aspekten ist jedoch für die Auffassung der rechtlichen Formel aruss. *без накосту* und für die korrekte Übersetzung der historischen Textquellen erforderlich.

Eine Analyse der Belege aus umgangssprachlichen pskovisch-nowgorodischen Textquellen, aus den Nowgoroder Birkenurkunden und Rechtstexten weist auf die Semantik ‚Hindernis, Widerstand‘ hin, in rechtlichen Formeln ist jedoch Variierung des Worts mit semantisch abweichenden Substantiven zu beobachten, zum Beispiel, mit dem Wort *хитрость* ‚Schlauheit‘ (in der Formel *безо всякоу хитросту*). Eine Lösung dieses semantischen Problems erfolgt durch einen Vergleich mit den niederdeutschen Übersetzungen der altrussischen Akten. Die Variierung der Substantive in der Formel ist in beiden Sprachen erheblich, sie bewegt sich jedoch in gemeinsamen semantischen Grenzen (‚Hindernis, Widerstand, Widerspruch‘), was die Feststellung der Bedeutung für aruss. *накость* (‚Widerstand, -spruch‘) ermöglicht und zu Gunsten einer der etymologischen Lösungen (aufgrund von aslav. **pak-*) ist.

Schlüsselworte: Etymologie, lexikalische Semantik, Mittelniederdeutsch, Altrussisch, Vertragsurkunden, Formeln.

Примечания

- ¹ Этот комментарий справедлив и в отношении русских продолжений. Здесь также нет единодушия в понимании морфологии (происхождения) перечисленных наречий, например, Фасмер объясняет наречие *паче* как сравнительную степень от *пакъ* (Фасмер с. 223), иначе – у Мейе: *паче*= локатив от *пак-* (см. *Преображенский* с. 726). К другим падежным формам возводятся также наречия *пако* (из вин. пад. ед. ч. ср. р.) и *паки* (из твор. мн.ч.).
- ² Материал, показывающий, что в тексте грамот может меняться не только семантика слова, но и его грамматические и синтаксические свойства (например, грамматическое число, валентность), (см.: *Сквейрс, Фердинанд* 2002).
- ³ В небольшой по объему, но принципиальной по значимости работе «Слова культуры как предмет этимологического анализа» О. А. Смирницкая пишет о ключевых словах древних германских поэтических текстов, которые, регулярно воспроизводясь в традиции, вступают друг с другом в звуко-смысловую связь, так что 'научная' и 'мифопоэтическая' этимология уже не могут быть разведены по разным филологическим ведомствам (*Смирницкая* с. 154, 158). При всех глубоких отличиях языка поэзии от языка средневекового права, между ними все же есть и некоторая общность родства, и присущая им обоим способность нести в себе «ключевые слова культуры». Формулы и формульность несомненно являются теми скрепами средневекового законоговора, которые пронизывают культуру общества.
- ⁴ О типах и границах варьирования в языке грамот см.: *Squires* 2006.
- ⁵ Переводы А. Л. Хорошкевич цитируются по рукописи еще не опубликованного труда, посвященного старейшим международным договорам Руси.

Этимологическая реконструкция формул древнерусско-немецких договорных грамот

Senkrievu un vācu miera līgumos sastopamo formulu etimoloģiskā rekonstrukcija

Etymologische Rekonstruktion der Formeln der altrussisch- deutschen Vertragsurkunden

Игорь Кошкин

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte,
Visvalža 4a, Rīga, LV-1050,
igors.koskins@lu.lv

Типичным для традиционных формул-синтагм является то, что лексемы, входящие в формулу, связаны не случайно, а на основе определенной семантической корреляции. Спектр проявления подобной корреляции достаточно широк: от полной тавтологии до соответствия по этимолого-синонимическому принципу. Формулы, часто встречающиеся в текстах немецко-русских договорных грамот, обнаруживают структурно-формальные и семантические типологические параллели, связанные с развитием этимологического значения опорного слова-компонента. Характерно также проявление взаимодействия, связанного с контактированием языков.

Ключевые слова: этимология, языковые формулы, язык средневековых текстов, индоевропейский корень.

Исторически на территории Латвии в роли контактных языков по отношению к древнерусскому языку выступали два языка – латышский язык (изначально в виде древнелатышских диалектов) и немецкий язык, представленный сначала таким вариантом, как средненижне немецкий язык, который функционировал, начиная с XIII столетия, как *lingua franca* в северной части Европы, в том числе в регионе Балтийского моря, на территории Ливонии. Этот контакт был специфичен по форме и по социально-коммуникативной сфере: *«Vor allem Fernentlehnungen verbinden das Niederdeutsche mit dem Russischen, zu dem keine autochthon-unmittelbaren Berührungszonen bestanden»* [«Прежде всего дистантные заимствования связывают нижне немецкий язык с русским, по отношению к которому не было автохтонных непосредственных зон соприкосновения»] (Menke 2004, с. 107). Речь идёт прежде всего о контактировании в рамках дипломатической переписки нижне немецкого письменного языка с древнерусским языком, представленным в языке деловой письменности, в том числе в языке договорных грамот. См. также о международной роли нижне немецкого языка Ганзы (Сквайрс 2001, с. 156–171). В свою очередь, рефлексy контактирования трёх языков, имевших отношение

к историческому пространству Латвии, к бывшей территории Ливонии, связаны как с заимствованными словами и формулами, так и с проявлением общих тенденций в развитии аналогичных формул. Следует отметить, что постулируемая в историческом языкознании германо-балто-славянская лексическая общность, «lexikalische Sonderübereinstimmungen» в терминологии Хр. С. Станга (Stang 1972), может, очевидно, проявляться не только в общей лексике, но и в общем формульном наследии. Так, например, древнерусская формула *добрии людие* и средненижнемецкая формула *gude lude* одинаково часто встречаются в языке русско-немецких дипломатических документов. Анализ их употребления, а также сравнение с употреблением аналогичных формул в языке фольклора, например, русск. *добрые люди* в языке русского фольклора, латыш. *lielie ļaudis, labie ļaudis* в языке латышского фольклора, показывают, что в эволюции формул трёх языков проявлялись как общие тенденции, так и взаимодействие, связанное с контактированием языков. Для оценки объёма и характера взаимовлияния в рамках общего развития единиц текста важную роль играет так называемый этимологический критерий, связанный с этимологической реконструкцией компонентов формулы. Кроме того, наряду с фактором повторяемости этимологический фактор имеет значение для определения формульного характера сочетания слов.

Адекватная этимологическая реконструкция многих слов связана с их функционированием в составе так называемых традиционных формул-синтагм в текстах средневекового литературно-письменного языка, а также в языке фольклора. Как известно, корреляция может быть подчинена как антонимическому принципу, так и синонимическому принципу, связанному с варьированием в рамках одного понятия: русск. *крутой берег, косу чесать*, серб. *вити плећи* (Потебня 1990, с. 74), серб. *жуто злато* (Веселовский 1940, с. 74). В основе таких формул лежит плеоназм форм выражения, который был свойствен древнему поэтическому и отчасти юридическому языку. Спектр проявления подобного плеоназма достаточно широк: от полной тавтологии до этимологической тавтологии. Ономастологически возникают условия для создания традиционной формулы-синтагмы, компоненты которой семантически согласуются друг с другом. Для компонентов некоторых традиционных формул-синтагм, встречающихся в текстах немецко-русских договорных грамот, характерна взаимная семантическая корреляция, в основе которой лежит этимолого-синонимический принцип. Одной из подобных формул является традиционная формула-синтагма дрр. *добрии людие*, снн. *gude lude*.

Дрр. *добрии людие* встречается в русско-ливонских, русско-ганзейских грамотах Северо-Запада Руси, при этом содержащие эту формулу тексты связаны по своему происхождению со всеми древнерусскими городами, имевшими отношения с немецкими и ливонскими городами – с Новгородом, Псковом, Смоленском, Полоцком. Например, в грамоте великокняжеских наместников и всего Новгорода ганзейским послам в Юрьев 1388 г.:

и мы ваюу грамоту слышилѣ а повѣстуете такъ чтобы есте послалѣ к намъ во (ю)рво свои пословѣ по(с)лалѣ. ч(с)тны добрыи люди (ЛГИА, № 67);

в новгородской грамоте архиепископа Семёна Риге с требованием суда над Инцей Зашембакой и его братом Артемием 1418 г.-1421 г.:

ω(t) архип(с)па новгоро(д)ского вл(д)ци семена к посадникамъ к рискымъ к ратманамъ и къ всимъ добрымъ лю(д)мъ ... и вы лю(ди) добрыи даите исправу по

кр(с)тному целованью наше(му) новгороду (ЛГИА, № 147);

в псковской грамоте в Ригу о выдаче беглого должника Нездильца XIV в.:

здѣ ваша братия и дѣти ваши тѣргоуютъ. и въводятъ люди добры въ пороукоу (ЛГИА, № 86);

в договорной грамоте Смоленска с Ригой и Готландом 1229 г. (редакция А):

пре сеи миръ трудили ся дѣбрици люди Ролфо ис кашеля б(о)жи(и) дворянинъ тумаше смолнянинъ (СГ, с. 21);

в договорной торговой грамоте (проект договора) Полоцка с Ригой 1405 г.:

а се мы полоча(и) вси добрыи лю(д) ... а том есме къ вам послали свои добрыи лю(д) чесныи, к тебе, княж местерю и къ всем риделемъ и к всем ратьмяномъ и к всем купъцем ризьким (ЛГИА, № 121).

Формула снн. *gude lude*, аналогичная древнерусской, встречается в грамотах на нижненемецком языке, при этом она характеризует как тексты древнерусско-ливонского ареала, так и тексты за его пределами. Например:

в грамоте новгородцев Ревелю с поручительством за достаточное удовлетворение со стороны Ревеля за товар, пограбленный витальскими братьями у новгородцев 1396 г.:

witlick und openbaren si allen guden luden, de dessen jegenwordigen bref seen, horen ofte lesen... «да будет ведомо и явно всем добрым людям, которые настоящую грамоту видят, слышат или читают...» (ГВНП, № 47);

в мировой грамоте Ивана Кочерина и Ганса Вреде 1411 г. (Новгород):

witlik sy, dat Ywane Cotzerne und Hans Wrede syn erer sake und twedracht gebleven by den guden luden... «да будет ведомо, что Иван Кочерин и Ганс Вреде отложили свою тяжбу и распрю перед добрыми людьми...» (ГВНП, № 51);

в договорной грамоте (копия) Росток и Висмара об урегулировании спорных дел 1422 г.:

vor allen guden luden de dessen bref zeen edder horen lesen betuge wy borgermestere un radmanne der stede rozstok un wysmer vor uns un unse nakomelinge ... «перед всеми добрыми людьми, которые эту грамоту видят или слышат, читают, свидетельствуем мы, бургомистры и ратманы городов Росток и Висмар, для нас и наших потомков ...» (AHR, Rostocker Sammelbände: 1.1.3.0. – XVI/12).

Данная языковая формула, будучи лексической номинацией, связанной с социально-иерархической терминологией, упоминается в тексте редакции древненовгородской скры 1296 г. (как известно, скра представляла собой устав немецкого двора в Новгороде): *god' lude, vnder goden luden* (ЛГИА, №.7, с. 11). Как было сказано, употребление нижненемецкой формулы не ограничивается рамками древнерусско-балтийского языкового пространства; формула отражена и другими немецкими историческими текстами. Например, она встречается в тексте Любекского права (*das Lübecker Recht*) *...alse gude lude spreken, dat it wert were...*, в тексте одной из грамот города Брауншвейг (Braunschweig): *swelich man dheme anderen sculdich is vnde bekant he is eme an dem süchtbedde vor gûden luden ...* (MndWb Bd. II, S. 163).

Обе вышеупомянутые формулы, встречающиеся в древнерусских и средненижненемецких грамотах и правовых текстах, обозначали людей, обладавших

определёнными социальными привилегиями. Эти привилегии, связанные как с принадлежностью к определённому социальному слою или социальной группе людей, так и с материальным богатством, обеспечивали непререкаемый авторитет «добрых людей». Опираясь на данные словаря средненижненемецкого языка Шиллера и Люббена, можно полагать, что выражения *gude man* (единственное число), *gude manne*, *gude lude* (множественное число) входили в категорию понятий государственного и имущественного права: «*gut* hieß derjenige, welcher die vollkommene staatsbürgerliche Ehre besaß, wobei gewöhnlich der Besitz eines Grundeigentums vorausgesetzt wird» [*добрым (gut)* назывался тот, кто обладал полным правом (честью) гражданина, при этом обычно предусматривалось и наличие собственности] (*MndWb* Bd. II, S. 162). Поэтому нет ничего удивительного, что «добрые люди» были вовлечены в сферу строительства международных отношений. Так, в упомянутой выше древнесмоленской договорной грамоте 1229 г. сказано, что над мирным договором «трудились» два представителя «добрых людей» – *ролфо ис кашеля* и *тумаше смоляннѣ*. Если первый с точки зрения социальной иерархии охарактеризован (*божши дворяннѣ*), то в отношении второго отсутствует номинация такого рода. Предположительно, по мнению В. Кипарского, Тумаш был переводчиком, родным языком которого был немецкий язык (см. *СГ*, с. 19). Социальный статус переводчика (снн. *tolk*, *tale-man*) был достаточно высоким: пятая редакция древненовгородской скры (1392 г.) специально оговаривает высокое денежное вознаграждение переводчику (*Glück* 2002, S. 280). Высокий статус «добрых людей» подтверждается также и тем, что связанная с формулой номинация часто выступает в так называемой протокольной части средневековой грамоты, в *inscriptio*, где она употребляется в одном ряду с другими словами и выражениями, обозначающими элиту общества. Ср. контекст из цитированной выше древненовгородской грамоты 1418 г.–1421 г.: *ω(m) архичн(с) на новгоро(д)ского вл(д)ци семена к посадникамъ к рискымъ к ратманамъ и къ всимъ добрымъ лю(д)мъ* (*ЛГИА*, № 147). Иными словами, можно утверждать, что значение древнерусской языковой формулы, выявляемое в текстах древнерусско-ливонских, древнерусско-ганзейских грамот, совпадает со значением формулы снн. *gude lude*, определяемое как ‘zuverlässige Personen, nach deren Urteil Schätzungen geschehen, Streitigkeiten beigelegt werden, oder welche als Zeugen dienen’ [‘лица, по чьему мнению что-либо оценивается, решаются спорные дела, или лица, которые выступают в качестве свидетелей’] (*MndWb*, Bd. II, S. 163).

По своей грамматической структуре и древнерусская, и средненижненемецкая формулы представляют собой словосочетания, состоящие из имени прилагательного и имени существительного. При этом для древнерусской формулы, по данным памятников языка, характерно лексическое варьирование на базе обоих компонентов: *добрии людие*, *добрии мужи*, *лучьшии людие*, *лучьшии мужи*. Например, последний вариант формулы выступает в тексте «Повести временных лет», в рассказе о мести Ольги (*ПСРЛ*, т. I, с. 54–60): *и послаша деревляне лучьшии мужи числомъ [20] въ лодыи к ользѣ*. Прилагательное ддр. *лучьшии*, будучи бывшей супплетивной формой по отношению к *добрыи*, в структуре формулы теряет своё грамматическое значение. Ср. стсл. *лоучши быти кого, чесо* ‘быть лучше кого-либо, чего-либо’ (*СтС*, с. 311). И древнерусская, и средненижненемецкая формулы обнаруживают лексическое варьирование второго компонента формулы – имени существительного: ддр. *людие* – ддр. *мужи*, снн. *manne* – *lude*.

Особого комментария заслуживает вариант древнерусской формулы с прилагательным дрр. *умьнь*, *умьныи*, зафиксированный в тексте договорной грамоты Смоленска с Ригой и Готландом (1229 г.):

...прислать въ ригоу своего лучьшего попа ерьмея и съ нимъ оумьна моужа пантеля и своего горда смольнеска (СГ, с. 20).

«Умный муж» Пантелей, несомненно, принадлежал к «добрым людям» (в том понимании, которое было изложено выше), и данная формула связана отношениями варьирования с традиционной формулой *добрии людие*. Тем не менее словосочетание *умьнь мужь* как вариант формулы, как правило, не встречается в договорных грамотах на древнерусском языке. Формула снн. *wise lude* ‘умные люди’ (снн. *wise*, нем. *weise* ‘умный, знающий, опытный’) встречается в древнейших немецких текстах и за пределами древнерусско-балтийского языкового пространства, например, в юридическом тексте XIII в. «Schwabenspiegel»: *swer div reht in den steten machen wil, der sol si wisen livten fyr legen (DRW, Bd. VIII, S. 1531)*. Можно предположить, что вариант формулы – *умьнь мужь* возник в результате рецепции (средне)нижнемецкого языка в рамках русско-немецких языковых контактов, отражённых языком договорных грамот.

В языке русского фольклора формула *добрые люди* встречается многократно. Хотя семантика данной фольклорной формулы не столь исторически конкретна, как в языке древнерусско-ливонских, древнерусско-ганзейских грамот, тем не менее она является дальнейшим развитием этимологического значения формульных компонентов (см. ниже). Фольклорная формула встречается, например, в былинах:

*Быстрым рекам слава до моря,
А добрым людям на послушанье,
Весёлым молодцам на потешенье
(былина про Дюка Степановича) (ДРС, с. 24);*

в исторических песнях:

*То старина, то и деянье
Как бы добрым людям на послушанье,
Молодым молодцам на перениманье,
Ещё нам, весёлым молодцам, на потешенье (ДРС, с. 151);*

в народных песнях:

*Сяду я на добра коня, поеду
Во Китай-город гуляти.
Я куплю же своей жене подарочек –
Самое преотличное платьице.
Принимай-ка, жена, да не гордися,
Душа-сердце моё, да не спесився!
Посмотрите же, добрые люди,
Что жена-то меня, молодца, не любит,
Душа-сердце моё да ненавидит! (ВНП, т. III, с. 442-443),*

*У нашего у соседушки
 Весела была беседушка.
 Во беседушке у соседушки
 Сидят люди добрые,
 Люди добрые, гости званые,
 Старички почётные... (ВНП, т. IV, с. 45).*

Фольклорной формуле *добрые люди*, главным образом, присуще значение ‘все честные люди’ > ‘все люди, весь народ’. Можно видеть, что все, к кому направлено обращение в былинах и песнях, могут выступать как денотат данной формулы. Это означает, что прилагательное *добрый* в структуре фольклорной формулы утрачивает свою первоначальную семантику, и вся формула отражает тот же путь семантической эволюции, связанный с трансформацией этимологического значения, что и слово *люди* как основной компонент формулы. Ср.: в сказке «Про дурня» герой обращается со словами, содержащими данную формулу, к представителям нечистой силы:

*Он им молвил:
 «Бог вам помочь,
 Добрым людям!».
 А черти не любят,
 С(х)ватили дурня,
 Зачели бити,
 Зачели давити,
 Едва ево, дурня,
 Жива опустили (ДРС, с. 203).*

Следует отметить, что различные семантические и прагматические нюансы, связанные с функционированием русск. *люди* в системе понятийно-языковых оппозиций, проанализированы, включая фольклорно-диалектный материал, в статье (Березович 2006, с.195–226); там же содержатся ссылки на литературу по употреблению данного слова в фольклорных текстах.

В языке латышского фольклора встречаются формулы, аналогичные дрр. *добрии людие*, снн. *gude lude*, – латыш. *labie ļaudis, lielie ļaudis* (латыш. *labs* ‘хороший; добрый’, латыш. *liels* ‘большой, великий’, латыш. *ļaudis* ‘люди’). Оба словосочетания характеризуются высокой степенью повторяемости в языке латышских народных песен (*tautasdziesmas*), где они обозначают знатных, богатых людей. Регулярная воспроизводимость позволяет говорить о формульном статусе этих словосочетаний. Например:

<i>Līdzi, līdzi, labie ļaudis,</i>	<i>Lieli ļaudis lielījās</i>
<i>Sliktam pāri nedariet:</i>	<i>Mīt nabagu kājiņām.</i>
<i>Kā saulīte līdzi tek,</i>	<i>Met, dieviņ, ērkšķu kok</i>
<i>Vai bij kalni vai ielejas.</i>	<i>Lielu ļaužu celiņā.</i>
(LTdz, 1. sej., 56. lpp.)	(Barons LD, 4. sej., 452. lpp.)
<i>Vainā mani tie ļautiņi,</i>	<i>Vai tik vien saule spīd,</i>

<i>Kas bij paši vainajami;</i>	<i>Kā pa logu istabā?</i>
<i>Ne vārđina nesačītu,</i>	<i>Vai tik vien labu ļaužu,</i>
<i>Ja vainātu labi ļaudis</i>	<i>Kā mēs divi bāleļiņi</i>
(<i>Barons LD</i> , 2. sēj., 478. lpp.)	(<i>Barons LD</i> , 1. sēj., 568. lpp.)
<i>Ko tie pūstu lieli vēji,</i>	<i>Labi ļaudis kājām spēra,</i>
<i>Ka nebūtu garu mežu;</i>	<i>Es iekritu smiltienā.</i>
<i>Ko runātu labi ļaudis,</i>	<i>Min, Dieviņ, pats labo</i>
<i>Ka nebūtu bārenišu</i>	<i>Ar savām kājiņām</i>
(<i>Barons LD</i> , 1. sēj., 723. lpp.)	(<i>Barons LD</i> , 1. sēj., 725. lpp.)
<i>Ni es lielu ļaužu biju,</i>	
<i>Ni es lielu rotu nešu;</i>	
<i>Vidējo ļaužu biju,</i>	
<i>Vidējo rotu nešu</i> (<i>Barons LD</i> , 2. sēj., 54. lpp.).	

По мнению автора этимологического словаря латышского языка Константина Карулиса, язык фольклора отражает значение латыш. *labs* ‘тот, кому принадлежат ценности; зажиточный, богатый’; латыш. *labie ļaudis* обозначало не только зажиточных, но и полноправных членов общества, противопоставлявшихся бесправным слугам, по отношению к которым зафиксирована номинация *sliktie ļaudis* ‘плохие люди’ (*Karulis LEV*, 1. sēj., 480.-481. lpp.). В отличие от русской фольклорной формулы, семантика латышской фольклорной формулы в значительной степени пересекается с семантикой дрр. *добрии людие*, снн. *gude lude*. Возможно, становление и развитие семантики данной латышской формулы происходило под непосредственным влиянием немецкой языковой культуры, следовательно, под влиянием аналогичной немецкой формулы. Такое предположение не лишено смысла, если учесть, что, согласно А. Озолсу, время создания народных песен (в устной форме) следует отнести предположительно к периоду XIII – XVI вв. (*Ozols* 1993, 12. lpp.).

Общность, связывающая латышскую формулу, с древнерусской и средне-нижненемецкой, проявляется также в том, что и в структуре латышской фольклорной формулы наблюдается лексическое варьирование, ср. *labie ļaudis*, *lielie ļaudis*, *dižie ļaudis* (латыш. *dižs* ‘большой, великий’), *lielie vīri* (латыш. *vīrs* ‘мужчина, муж (в архаичном смысле)’).

В качестве опорного слова проанализированных формул выступает имя существительное – дрр. *людие*, снн. *lude*, латыш. *ļaudis*. Корень восходит к индоевроп. **leudh-* ‘emporgewachsen, hochkommen’ [‘расти, вырастать’], **leudho-*, *leudhi-* ‘Nachwuchs, Volk’ [‘молодое поколение, народ’], *leudhero-* ‘zum Volk gehörig, frei’ [‘принадлежащий народу, свободный’] (*Pokorný IEW*, S. 684–685). Хр. Станг (*Stang* 1972, S. 10; 32) причисляет данное слово к балто-славянско-германским лексическим соответствиям, ср. латыш. *ļaudis*, литов. *liāudis* ‘(gewöhnliches) Volk’ [‘(простой) народ’], стсл. *l’udьje* ‘Menschen, Leute’ [‘люди’], *l’udь* ‘Volk’ [‘народ’], *l’udinь* ‘ein Freier, Mann des Volkes’ [‘свободный, свободный муж’], древневерхненем. *liut* ‘Volk’ [‘народ’], *liuti* ‘Leute’ [‘люди’]. Структурно-формальные и типологические параллели (см. выше) позволяют думать, что формирование и развитие указанных формул, если оставить в стороне инновации, обусловленные контактным воздействием языков, связаны с общими

тенденциями в эволюции слов-компонентов формулы, в своеобразном развитии их первоначального этимологического значения.

Первоначально само существительное обозначало тех, кто обладал определёнными правами и привилегиями, кто был свободным, ср. восходящее к тому же индоевропейскому корню латин. *liber* ‘свободный’ (*Pokorny IEW*, S. 684), ср. также прусск. *ludis* ‘gospodarz, pan domu’ [‘господин, хозяин дома’] (*Slawski SEJP*, t. IV, s. 369). Первоначальное этимологическое значение, очевидно, развивалось в направлении обобщённого значения ‘homines, люди’, затем в некоторых языках в направлении ‘простые люди; народ’ > ‘люди низших сословий’. Ср. снн. *lūt* ‘народ’, *lude* ‘abhängige Leute jeder Art’ [‘зависимые люди’] (*Lübben MndHwb*, S. 214); польск. (XIV в.) *ludzie* ‘poddani, chłopci, służby’ [‘подданные, слуги’], чеш. *lidé* ‘homines; pracownicy, podvádní’ [‘люди; рабочие, подчинённые’] (*Slawski SEJP*, t. IV, s. 368). В результате подобной семантической эволюции у существительного возникла негативно-оценочная коннотация, что могло стать фактором развития синтагм – словосочетаний с именами прилагательными, превратившихся затем в устойчивые сочетания – формулы. Потенциальная формула как бы восстанавливала оценочную коннотацию; вся формула обозначала лиц, принадлежащих к привилегированным социальным категориям

ЛИТЕРАТУРА

1. Березович Е. Л. «И все люди, да всяк человек по себе»: к вопросу о семантико-прагматической программе слова *люди*. В кн.: *Русский язык в научном освещении*. Москва, 2006. № 1.
2. *Великорусские народные песни* [ВНП]. Изданы проф. А. И. Соболевским. Т. 3 - 4. Санкт-Петербург, 1897.
3. Веселовский А.Н. *Историческая поэтика*. Ред. В.М. Жирмунский. Ленинград, 1940.
4. *Грамоты Великого Новгорода и Пскова* [ГВНП]. Ред. С. Н. Валк. Москва–Ленинград, 1949.
5. *Древние российские стихотворения, собранные Киршеем Даниловым* [ДРС]. 2-е., дополн. изд. Москва, 1977.
6. *Полное собрание русских летописей* [ПСРЛ]. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Издание 2. Ленинград, 1926.
7. Потебня А. А. *Теоретическая поэтика*. Москва, 1990.
8. Сквайрс Е. Р. Нижненемецкий язык Ганзы в Англии, Нидерландах, на Руси: к проблеме международного функционирования языка. В: *Вестник Московского университета*. Серия 9. Филология. Москва, 2001. № 6. С.156-171.
9. *Словарь древнерусского языка (11-14 вв.)* [СлДРЯ]. Ред. Р.И. Аванесов. Т. 4. Москва, 1991.
10. *Смоленские грамоты XIII–XIV веков* [СГ]. Москва, 1963.
11. *Старославянский словарь (по рукописям 10 -11 вв.)* [СтС]. Ред. Р.М. Цейтлин и др. Москва, 1994.
12. *Archiv der Hansestadt Rostock* [AHR].
13. Barons K., Visendorfs H. *Latvju dainas* [Barons LD]. 6 sēj. Rīga: Zinātne, 1989 –1994 [Faksimilizdevums].
14. *Deutsches Rechtswörterbuch: Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache* [DRW]. Hrsg. von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (bis B. 5 von der Preußischen Akademie der Wissenschaften). Bde 1 – 10. Weimar: Verlag Hermann Böhlau Nachfolger, 1914-2001.

15. Glück H. *Deutsch als Fremdsprache in Europa vom Mittelalter bis zur Barockzeit*. Berlin; New York, 2002.
16. Karulis K. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca* [Karulis LEV]. 2 sējumos. Rīga, 1992.
17. *Latviešu tautasdziesmas. Izlase* [LTdz]. 1.–3. sēj. Rīga, 1955–1957.
18. Lübben A. *Mittelniederdeutsches Handwörterbuch* [Lübben MndHwb]. Repr. Nachdr. Darmstadt, 1995.
19. Menke H. Niederdeutsch als Geber-, Nehmer- und Mittlersprache. In: *Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen*. Hg. Horst Haider Munske. Tübingen, 2004. S. 99–118.
20. *Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Karl Schiller und August Lübben* [MndWb]. Photomechan. Neudruck. Bde 1 – 6. Münster, 1931.
21. Pokorny J. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* [Pokorny IEW]. Bern, 1959.
22. Sławski Fr. *Słownik etymologiczny języka polskiego* [Sławski SEJP]. 1.–5. t. Kraków, 1952–1982.
23. Stang Chr. S. *Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen*. Oslo; Bergen; Tromsø, 1972

Kopsavilkums

Leksēmas, no kurām sastāv tradicionālā valodas formula, ir savstarpēji semantiski saistītas. Šī semantiskā korelācija izpaužas dažādi: no vienas puses, var būt pilna tautoloģija, no citas var būt formulu komponentu saskaņotība, balstoties uz etimoloģiski sinonīmisko principu. Senkrievu un vācu miera līgumu tekstos bieži sastopamo formulu struktūrā, to semantikas atbilstībā atklājas tipoloģiskās paraleles, kas ir saistītas ar formulas pamatkomponenta etimoloģiskās nozīmes evolūciju. Formulām raksturīgas arī inovācijas, kas ir saistītas ar valodu kontaktiem.

Atslēgvārdi: etimoloģija, valodas formulas, viduslaiku tekstu valoda, indoeiropiešu sakne.

Zusammenfassung

Für die traditionellen Sprachformeln ist die innere semantische Einheit kennzeichnend, die sich darin zeigt, dass die in die Formel eingehenden Lexeme nicht zufällig, sondern aufgrund bestimmter semantischer Wechselbeziehungen miteinander verbunden werden. Wie die Analyse zeigt, sind die Formeln, die in den altrussisch-deutschen Vertragsurkunden vorkommen, typologisch miteinander verbunden. Es handelt sich um die Parallelentwicklung in der Struktur und in der Semantik der Formeln. Einige Innovationen sind unter dem Einfluss der Kontaktsprachen entstanden.

Schlüsselworte: Etymologie, Sprachformeln, Sprache mittelalterlicher Texte, indoeuropäische Wurzel.

**Этимологическая рефлексия в идиолекте:
стихотворение М. Цветаевой «Минута»**

*Etimoloģiskā refleksija idiolektā:
M. Svetajevas dzejolis «Minūte»*

*Etymologische Reflexion im Idiolekt:
M. Zwetajewas Gedicht «Minute»*

Татьяна Стойкова
Latvijas Universitāte,
Visvalža 4a, Rīga, LV-1050,
stoikova@lanet.lv

В статье рассматривается эстетическая функция авторского этимологизирования в идиолекте; проводится лингвистический анализ стихотворения М. Цветаевой «Минута» (1923 г.), который учитывает принципы этимологического анализа. Эмоционально-образное содержание лирического произведения раскрывается через осмысление сложного соотношения в контексте этимологически родственных слов и слов, связанных отношениями паронимической аттракции (ложного родства).

Ключевые слова: поэтический язык, идиолект, идиостиль, эстетическая функция языка, авторское этимологизирование, паронимическая аттракция, лексическая семантика, внутренняя форма слова, омонимия.

Метод этимологического анализа отражает принципы научного познания мира. Однако в художественном тексте авторское этимологизирование становится средством художественного освоения мира, и здесь реализуется вторичная функция этимологического анализа – эстетическая. Выдающийся этимолог В. Н. Топоров подчеркивал полезность исследования «окказиональных случаев этимологизирования», в частности, в поэтическом языке (Топоров 2005, с. 30–31)¹.

Авторское этимологизирование в идиолекте (идиостиле), по-видимому, обусловлено несколькими моментами. Во-первых, имеют значение личностные особенности художника: филологическая одаренность и образованность, лингвистическое чутье, понимание связи структуры слова и его смыслового потенциала. Именно таким необычайно одаренным человеком была Марина Цветаева. Исследователи творчества М. Цветаевой отмечают свойственное ей «обостренное чувство структуры слова – семантической, морфемной, звуковой» (Черкасова 1982, с. 52); более того, «она – не только интуитивно лингвист, но и интуитивно историк языка» (Зубова 1989, с. 4).

Во-вторых, значимы собственно лингвистические факторы: наличие в языке большого количества этимологически родственных слов, которые на современном срезе языка «забыли» о своем генетическом родстве и соответственно утратили внутреннюю форму. Контекстуальная близость таких слов позволяет не только восстановить, но и обновить их внутреннюю форму – с определенным эстетическим заданием, мотивированным авторским замыслом. Так, Л. В. Зубова выделила основные ряды подобных этимологически родственных слов, характерных для идиостиля М. Цветаевой. Вот неполный перечень этих рядов: *гореть – горе – горевать – горячий – огорченный – жаркий – пожар – пожирать*; *вдох – душа – дыхание – дудеть*; *узы – союз – узел – связь – вязь* и др. (Зубова 1989).

Наконец, этимологизирование в поэтическом идиостиле нередко опирается на паронимию. С лингвистической точки зрения паронимия представляет собой «систему парадигматических отношений между сходными в плане выражения разнокорневыми словами», не связанными в синхронии языка признаками деривационной близости; минимальная степень звукового подобия при паронимии предполагает хотя бы два тождественных согласных. (Григорьев 1979, с. 264). В поэтическом языке паронимия, или паронимическая аттракция, – художественный прием, который характеризуется переносом звукового подобия контекстуально сближенных слов на их смысловое родство. В результате паронимического притяжения таких квазиродственных слов в тексте возникают различные семантические, экспрессивные эффекты. Следует отметить, что 10–20-е годы 20 века – период широкого распространения паронимии в индивидуальных стилях; увлечение паронимией оказало серьезное влияние на уже сложившиеся поэтические индивидуальности (например, В. Брюсова, А. Белого) и, если говорить о поэзии М. Цветаевой, даже повлекло за собой «перестройку оснований поэтической системы» (Очерки 1990, с.173–174).

Обратимся к тексту лирического произведения М. Цветаевой «Минута», написанного 12 августа 1923 г., и посмотрим, как реализуется эстетический потенциал этимологизирования в раскрытии эмоционально-образного содержания стихотворения при семантическом развертывании поэтического текста.

(1) *Минута: минуцая: минеш!*
Так мимо же, и страсть и друг!
Да будет выброшено ныне ж –
Что завтра б – вырвано из рук!

(2) *Минута: меряцая! Малость*
Обмеривающая, слышь:
То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти

(3) *Другим, десятичной кори*
Подверженным еще, из дел
Не выросшим. Кто ты, чтоб море
Разменивать? Водораздел

(4) *Души живой? О, мель! О, мелочь!*
У славного Царя Щедрот
Славнее царства не имелось,
Чем надпись: «И сие пройдет» –

(5) *На перстне... На путях обратных
Кем не измерена тщета
Твоих Аравий циферблатных
И маятников маята?*

(7) *О, как я рвусь тот мир оставить,
Где маятники душу рвут,
Где вечностью моею правит
Разминовение минут.*

(6) *Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
Нас мелющая! Ты, что минешь:
Минута: милостыня псам!*

(Цветаева 1988, т. I, с. 238–239)

В произведении рефлексруется важное для поэтического сознания художественное понятие *минута*. Важное для языкового сознания в целом, т.к. семантика слова-заглавия *минута* отражает категорию времени как составляющую фундаментальной философской категории – категории бытия. В языке лексема *минута* – имя абстрактное. Слово заимствовано в 17 веке через немецкое *Minute* или французское *minute* от лат. *minūpus* ‘маленький, мелкий’, а точнее из лат. *minuta* – сокращение выражения *pars minuta prima* (Фасмер ЭСРЯ т. II, с. 625); в современной форме употребляется с начала 18 века и имеет следующие словарные значения: 1. «мера времени, равная 1/60 часа и состоящая из 60 секунд»; 2. «очень короткий промежуток времени, мгновение», оттенок данного значения – «какой-то момент времени»; 3. «1/60 градуса, обозначается на письме значком ` вверху цифры справа» (ТСУ т. II, стлб. 221–222).

В поэтическом тексте реализуется эстетическое значение слова-образа *минута*, которое в качестве заглавного задает основную идею стихотворения. Проследим художественную концептуализацию абстрактного – поэтому семантически полого имени, заимствованного – следовательно, лишённого внутренней формы, т.к. этимологические мотивирующие признаки в заимствованных словах носителями заимствующего языка (в данном случае русского) не осознаются.

Семантическое наполнение словесного образа *минута* осуществляется на основе контекстных связей слова и смысловых, экспрессивных приращений, возникающих благодаря этим связям. Рассмотрим принципы семантической организации поэтического текста, в котором реализуется эстетическое значение слова *минута*. Следует отметить, что семантическая композиция поэтического текста существенно определяется его звуковой организацией. Здесь ведущей является варьирующаяся в тексте консонантная доминанта, которая задается заглавным словом *минута* и представлена звуковым набором – *М-Н-Т*. Особенно значим сквозной повтор начального сонанта *М-* (корреляция по признаку твердость/мягкость с точки зрения эстетической реализации значения не имеет). Слова, содержащие вариации консонантной доминанты, особенно с анафорическим звуковым повтором, ассоциативно и семантически сближаются в контексте и оказываются наиболее важными в актуализации семантических признаков словесного образа *минута*. Вот ряд этих слов (лексем и их форм): *минующая, минешь; меряющая; малость, обмеривающая, разменивать, мель, мелочь, имелось, измерена, море, маятники, маята, мающая, мнимость, медлящая, мелющая, милостыня, мир, мой, разминовение*.

Однако многие слова связаны не только сквозным звуковым повтором, который их выделяет и соотносит с заглавным словом-образом, но и более глубокими отношениями:

- деривационной близости (например, глагол *минуть* в формах *минущая*, *минешь* – окказионализм *разминовение*);
- этимологического родства (*минущая*, *минешь* – *мимо*; *малость* – *мель* – *мелочь* – *мелющая*; *маятники* – *маяющая* – *маята*);
- «ложного» родства, т.е. паронимической аттракции (*минута* – *минущая*, *минешь*, *разминовение* – *мнимость* – *милостыня*).

Ряды слов, связанных деривационными отношениями в синхронии языка, этимологическим родством и паронимически сближенных, пересекаются, образуя в тексте сложные взаимосвязи, ассоциативно-смысловые переключки, вариации смысловых повторов, отражающие эмоционально-образное содержание лирического произведения.

Первая строка задает авторское осмысление внутренней формы, которой словесный образ *минута* наделяется в контексте: рядоположены лексемы, не родственные в языке, имеющие квазиродственные корни (и представляющие, кстати говоря, чистый вокалический тип паронимии): *минута*: *минущая*, *минешь* (формы глагола *минуть*). Смысловые отношения между словами выражает двоеточие. Этот пунктуационный знак (как и тире) в поэтической системе М. Цветаевой несет особую эстетическую нагрузку, подчеркивая смысловое отождествление частей высказывания (Ревзина 1983). В нашем контексте двоеточие указывает на семантическое тождество корневых морфем, а также на направление мотивации: формы глагола *минуть* содержат (в пределах художественной системы лирического произведения!) мотивирующие признаки слова *минута*. Грамматически неправильная форма *минущая* (действительное причастие настоящего времени от глагола совершенного вида в современном русском языке не образуется) совмещает несовместимые признаки – признаки настоящего времени и совершенного вида: ‘длительность, протяженность в настоящем’, ‘направленность из настоящего в будущее’ и ‘предел, завершенность в будущем’, ‘конечность чего-либо; того, что длится в настоящем’. Таким образом в настоящем уже заложен конец, обреченность того, что происходит, длится сейчас. Форма *минешь* повторяется в 1 и 6 строках, подчеркивая признаки ‘предельность’, ‘конечность’, завершенность, ‘обреченность’. Данные лейтмотивные признаки, эмоционально окрашиваясь в контексте, варьируются:

- в глагольной семантике страдательных причастий *выброшено*, *вырвано*;
- в лексической семантике наречия *мимо* ‘минуя что-либо, не останавливаясь, не задерживаясь’ (в составе эллипсиса *Так мимо же, и страсть и друг!*);
- в лексической семантике этимологически родственных антонимов *начинаться* – *кончатся*, имеющих общую сему ‘предел’ (*То никогда не начиналось, что кончилось*).

Двоеточие также фиксирует семантическую связь лексемы *минута* и глагольных форм *меряющая*, *обмеривающая* (2 строфа), *маяющая*, *медлящая*, *мелющая* (6 строфа). Повторяющиеся формы действительных причастий настоящего времени актуализируют грамматические глагольные признаки ‘движение, длительность’,

‘протекание в настоящем’, которые соотносятся с лексемой *минута*. Безглагольный эллипсис с наречием *мимо* (*так мимо же, и страсть и друг*) подчеркивает динамику, стремительность времени и конечность событий, его наполняющих.

Во второй строфе двоеточие указывает на общность семантики корневых морфем в словах *минута* и *мерящая*. Тройной повтор корня –*мер-* (дважды во второй строфе – *мерящая, обмеривающая* и в пятой – *измерена*) актуализирует признаки ‘дискретность времени’, ‘определенная величина протяженности времени’, ‘мера времени.’ Синонимические номинации *малость* (2 строфа), *мель, мелочь* (4 строфа) актуализируют исходные этимологические признаки лексемы *минута* (в языке-источнике) – ‘мелкий’, ‘маленький’, ‘короткий, непродолжительный (отрезок времени)’.

Итак, выделенные семантические признаки словесного образа *минута* (‘дискретность времени’, ‘мера времени’, ‘небольшой отрезок времени’, ‘длительность’, ‘протяженность в настоящем’, ‘направленность движения из настоящего в будущее’, ‘предельность’, ‘завершенность’) характеризуют первичный концепт *время*, его линейную составляющую – так называемое *линейное время*. Напомним, что исторически сложилось два основных обобщенных представления о времени – «время циклическое» и «время линейное» (Степанов 2004, с. 244). Циклическое время отражает последовательность однотипных повторяющихся событий, линейное связано с однонаправленным поступательным движением. Циклическое время соответствует космологическому сознанию, линейное – историческому. Оба типа времени противопостоят вечности: вечность лишена временных характеристик.

Проявленные в контексте стихотворения признаки объективируют категорию авторского времени. Образ линейного времени, представленный мерой времени – *минута*, в поэтическом произведении эмоционально переживается и наделяется субъективными авторскими характеристиками. Семантика сочетания *малость обмеривающая* двоятся: контекст не однозначен и допускает игру значениями лексемы *малость*, которая может мыслиться и как сниженное существительное – ‘незначительный, небольшой по величине, мелочь’, и как сниженное наречие со значением ‘немного’ (ТСУ т. II, стлб. 131). Сочетаясь с наречием *малость*, слово *обмеривающая* реализует значение ‘обманывать’. Данное значение соотносится со словесным образом *минута*, дополняя его семантику новым комплексом признаков, который поддерживается дальнейшим контекстом, варьируясь в номинативных значениях глаголов *лгать, льстить*, существительного *мнимость* (сущ. к *мнимый* ‘воображаемый’, ‘кажущийся’, ‘ложный’); а также в обобщенно-образной семантике метафоры *маятников маята*.

В номинативном значении *маятник* – часть часового механизма, отсчитывающего время: «качающееся тяжелое тело на стержне, прикрепленном верхним концом к неподвижной точке»; «колесо, регулирующее ход карманных часов равномерным последовательным движением вокруг своей оси в противоположных направлениях (спец.)» (ТСУ т. II, стлб. 166); *маета (маята)* – «изнуряющая, длительная работа; надоедливое, хлопотливое занятие» (ТСУ т. II, стлб. 115). Очевидно, что лексемы *маятник* и *маята* в современном языке не являются родственными; в контексте стихотворения М. Цветаевой они паронимически сближены. Однако «Историко-этимологический словарь современного русского языка» рассматривает лексемы *маятник* и *маета* (устаревшее написание

маята) как этимологически родственные, восходящие к одному глаголу *маять* – ‘утомлять’, ‘изнурять’, ‘приводить в изнеможение’, ‘мучить’. (Черных 2001, т. I, с. 518). По данным же этимологического словаря М Фасмера, слова *маятник* и *маята* восходят к этимологическим омонимам:

Маять 1 ‘утомлять, изнурять’; ‘трудиться, стараться’. От данного глагола происходит существительное *маета* (*маята*) ‘мучение’.

Маять 2 ‘махать’, ‘обмануть’; ср.: родствен. санскрит *māyā* ‘превращение, обман, иллюзия’; болг. *омая* ‘чарую, одурманиваю’ и т. д. К этому омониму восходят слова *маятник*, *маяк*, *махать* (Фасмер ЭСРЯ т. I, с. 587).

Для эстетического анализа важно, что этимологическое значение лексемы *маятник* включает семы ‘иллюзия, мираж, обман’. Паронимическое притяжение формирующих метафору лексем, этимологически соотносимых и взаимно друг друга мотивирующих, «взрывает» глубинную память слов. Эта «этимологическая» память оживает в обобщенно-образном метафорическом значении, которое лишь приблизительно можно обозначить так: ‘монотонно-размеренный отсчет минут, мгновений, часов, утомляющих иллюзиями, миражами, обманами’. Образное содержание метафоры *маятников маята* соотносится с речевым образом времени, но одновременно проецируется и во внутреннюю сферу чувств лирического субъекта, остро переживающего неистинность, иллюзорность, фальшь быстротечных суетных событий, заполняющих время жизни.

Данное метафорическое значение варьируется, повторяясь, в 6 строфе, где встречается причастная форма глагола *маять*, этимологически исходного для существительных *маятник*, *маята*: *Минута: мающая! Мнимость вскачь – медлящая!* Толковые словари современного русского языка фиксируют глагол *маять* ‘изнурять’, ‘утомлять’ как просторечный (ТСУ т. II, стлб. 166). Двоеточие указывает на семантическое родство слов с анафорическим повтором (*минута*, *мающая*) и слов, связанных отношениями паронимической аттракции (*минута* и *мнимость*). Таким образом, эстетическое значение слова *минута* вбирает обобщенные семантические признаки слов *мнимость*, *мающая* – ‘утомляющая неистинностью, кажимостью, иллюзорностью’.

Шестая строфа особенно насыщена звуковыми вариациями паронимически сближенных лексем с анафорическим консонантным повтором. Повторяются уже актуализированные признаки, однако в контексте тропов (оксюморон *вскачь – медлящая*; метафоры *в прах и в хлам мелющая*, *милостыня псам*) развиваются новые обобщенно-образные, экспрессивные признаки словесного образа *минута*, отражающие авторскую негативно-эмоциональную оценку образа времени.

Итак, анализ речевого образа *минута*, проведенный с учетом авторского этимологизирования (т. е. авторской игры со словом – авторского восстановления, переосмысления, обновления семантики слов на основе их подлинного этимологического родства или кажущегося – благодаря паронимическому сближению в контексте) позволяет очертить семантическую композицию поэтического текста. Стержнем семантической композиции выступает смысловая оппозиция *минута* – *вечность*. Словесный образ *минута* отражает линейное, конкретно-историческое, время. Словесный образ *вечность* вербализуется в последней строфе: *...вечностью моею правит разминовение минут*. С этим образом соотносимы лексемы *море* (*Кто ты, чтоб море разменивать?*), *душа* (*душа живая, маятники душу рвут*), оним *Аравия* в составе метафоры *Аравий*

циферблатных; а также парафраза *Царь Щедрот* и прецедентное высказывание *И сие пройдет*, включающие в контекст презумпции вечного библейского мифа. Словесный образ *море*, реализуя традиционное в поэзии обобщено-символическое значение 'душа человека, поэт', вместе с тем подчеркивает близость лирического субъекта и автора: *море – морская – Марина*.

Лирическое *Я* соразмерно вечности и принадлежит ей. «Время» лирического субъекта – вечность, включающая бесконечность, целостность, истину. Следовательно, с *вечностью* не соотносимы признаки 'дискретность', 'быстротечность', 'конечность', 'завершенность', 'иллюзорность' и т. д. – словом, те признаки, которые и формируют художественное представление о линейном времени. Истинные ценности, которые исповедует лирический субъект, заявлены в первой строфе – *страсть и друг*. Они не совместимы с конкретным историческим временем, не вмещаются в его тесные рамки, они над временем: то, что истинно, – вечно, а не длится, имея начало и неизбежный конец (*так мимо же, и страсть и друг; то никогда не начиналось, что кончилось*).

Семантическая композиция мотивирует и синтаксическую, и прагматическую структуру текста. В основе прагматической структуры – экспрессивный диалог-полемика лирического субъекта и времени, вызов, брошенный времени, который организует местоименно-грамматическая оппозиция *ТЫ – Я*, отчетливо поляризующая речевой образ времени и речевой образ лирического субъекта. С полюсом *ТЫ* соотносится речевой образ персонифицированного времени, его строят обращение *Минута*, глаголы в форме 2 лица будущего времени *минешь, слышь*, повелительного наклонения *лги, льсти*, личное местоимение *ты* и притяжательное – *твоих*. С полюсом *Я* соответственно связана сфера лирического субъекта, не совместимого с конкретным историческим временем; соотносимость же лирического субъекта с вечностью открыто подчеркнута притяжательным местоимением *мой* в последней строфе: *вечностью моею правит разминовение минут*.

Последняя строка (*Разминовение минут*) и первая строка (*Минута: минующая: минешь!*) образуют фигуру "обрамление", что подчеркивает особую эстетическую функцию окказионализма *разминовение*. *Разминовение* – отглагольное существительное, которое, по-видимому, находится в деривационной и семантической близости к глаголам *миновать, минуть* в значении 'пройти, окончиться' (*ТСУ II*, стлб. 220, 222) и к глаголу *разминуться* 'направляясь навстречу друг другу, разойтись в пути, не встретиться' (*ТСУ III*, стлб. 1172). Семантическое родство с лексемой *минута* (на фоне паронимического притяжения) ассоциативно устанавливается через глагол *минуть*, содержащий, как показал проведенный анализ, в художественной системе произведения мотивирующие признаки слова *минута*. Таким образом, диффузное значение окказионализма *разминовение* отражает авторское концептуальное значение словесного образа *минута*.

Важно, что художественное мировидение лирического субъекта М. Цветаевой, по существу, тождественно мировидению самой поэтессы. Единство отраженной в идиолекте индивидуальной картины мира прослеживается через сопоставление поэтического и эпистолярного текстов. Сравним авторскую концептуализацию *времени* в стихотворении «Минута» и в письме М. Цветаевой, адресованном Б. Пастернаку. Это письмо отражает переживание личной утраты; оно написано 9 февраля 1927 г., через десять дней после смерти немецкого поэта-романтика Р. М. Рильке: *«Живу им и с ним. Не шутя озабочена разницей небес – его и моих.*

Мои – не выше третьих, его, боюсь, последние, т.е. – мне еще много-много раз, ему – много – один. Вся моя забота и работа отныне – не пропустить следующего раза (его последнего). /.../

Первое совпадение лучшего для меня и лучшего на земле. Разве не естественно, что ушло? За что ты принимаешь жизнь?

Для тебя его смерть не в порядке вещей, для меня его жизнь – не в порядке, в порядке ином, иной порядок.

*Да, как случилось, что ты средоточием письма взял частность твоего со мной – на час, год, десятилетие – **разминовения** /выделено нами – Т.С./, а не наше с ним – на всю жизнь, на всю землю – расставание. /.../ Разве что-то еще длится? Борис, разве ты не видишь, что **то разминовение, всякое, пока живы, частность – уже уничтоженная** /выделено нами –Т.С./» (Рильке, Пастернак, Цветаева 1990, с. 212).*

Индивидуально-авторская семантизация концепта *время*, представленная в стихотворении «Минута», оживает в эпистолярном тексте поэтессы. На это указывает и одно из ключевых слов, формирующих концепт, – окказионализм *разминовение*. Ср.: /.../ *вечностью моею правит **разминовение минут***.

Интересно, что в поэтическом идиолекте М. Цветаевой 20-х гг. «*формируется новый лирический субъект*», не связывающий себя с конкретным временем и конкретным пространством, в котором он пребывает, чутко воспринимающий «*свое родство с подобными ему в разных временах и разных пространствах*» (Очерки 1990, с. 43). Подобная личность внутренне ориентирована на философское познания мира. Таков автор приведенного выше письма. Таков и лирический субъект в стихотворении «Минута» (1923 г.) – познающий сущностные, глубинные основы бытия. Средством познания становится поэтический язык. Однако эстетическое исследование законов мироздания и формирование нового мировоззрения предполагает, согласно художественной логике М. Цветаевой, преобразование языка. По мысли исследователей ее поэзии, «*познание языковой структуры предстает как познание структуры мира*», а «*преобразование языка в поисках его глубинных закономерностей*» (Очерки 1990, с. 44) означает одновременно исследование принципов мироустройства.

Очевидно, что ключевым моментом проведенного лингвистического анализа стихотворения М. Цветаевой является эстетическая значимость соотношения этимологически родственных слов и слов, паронимически сближенных в контексте. Именно это соотношение стало основой преобразования языка, экспериментирования над семантикой слова – авторского «окказионального этимологизирования».

Примечание

- ¹ Иллюстрируя свою мысль, В. Н. Топоров ссылается в качестве примера на стихотворение М. Цветаевой «Минута»: «Когда М. Цветаева пишет: Минута: минушая: минешь! // Так мимо же, и страсть и друг! // Да будет выброшено ныне ж - // Что завтра б – вырвано из рук! // Минута: мерящая! Малость // Обмеривающая: слышь: И далее: Минута: маюшая! Мнимость // Вскачь – медлящая! В прах и в хлам // Нас мелящая! Ты, что минешь: // Минута: милостыня псам! – и т.д., /.../ здесь также дается этимология слова *минута*, но

она ориентирована не на код сравнительного языкознания, а на код поэтической речи и индивидуальных ассоциаций» (Топоров; 2005, с. 30–31).

Автор статьи благодарит к.ф.н. Наталью Ганину (участницу этимологического семинара, на котором был представлен лингвистический анализ стихотворения «Минута»), обратившую внимание автора на приведенную выше цитату из этимологических исследований В. Н. Топорова с упоминанием стихотворения М. Цветаевой. Отрадно сознавать, что «этимологическая мысль» бьется столь согласованно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев В. П. *Поэтика слова*. Москва, 1979.
2. Зубова Л. В. *Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект*. Ленинград, 1989.
3. *Очерки истории языка русской поэзии XX века*. Москва, 1990.
4. Рильке Р. М., Пастернак Б., Цветаева М. *Письма 1926 года*. Москва, 1990.
5. Ревзина О. Г. Из лингвистической поэтики: Двоеточие в поэтическом языке М. Цветаевой. В кн.: *Проблемы структурной лингвистики* 1981. Москва, 1983.
6. Степанов Ю. Н. *Константы. Словарь русской культуры*. Москва, 2004.
7. Топоров В.Н. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа. В кн.: *Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике*. Т.1. *Теория и некоторые частные ее приложения*. Москва, 2005, с. 19 – 40.
8. *Толковый словарь русского языка* [ТСУ]. Ред. Д.Н.Ушаков. В 4-х томах. Москва, 1935–1940.
9. Фасмер, М. *Этимологический словарь русского языка* [ЭСРЯ]. В 4-х томах. Москва, 1986–1987.
10. Цветаева М.. *Сочинения*. В 2-х томах. Т. I. Москва, 1988.
11. Черкасова Л. П. «Яркость изнутри»: О внутренней форме слова в прозе М. Цветаевой. В кн.: *Русская речь*, N 5, 1982, с. 52 – 55.
12. Черных П. Я. *Историко-этимологический словарь современного русского языка* [ИЭССРЯ]. В 2-х томах. Москва, 2001.

Kopsavilkums

Rakstā tiek aplūkota idiolektam raksturīgā estētiskā funkcija, kas saistīta ar literārā darba autora etimoloģizēšanas paņēmieniem. Raksts satur M. Cvetajevas dzejoļa «Minūte» (1923.g.) lingvistisko analīzi, kas balstās arī uz etimoloģiskās analīzes principiem. Daiļdarba emocionāli tēlainais saturs atklājas, autoram apzinoties sarežģītos sakarus, kas veidojas kontekstā starp etimoloģiski radniecīgiem vārdiem, kā arī vārdiem, kurus saista paronīmiskās atrakcijas attiecības (“viltus radniecība”).

Atslēgvārdi: daiļdarba valoda, idiolekts, valodas estētiskā funkcija, leksiskā semantika, etimoloģiskā refleksija, paronīmiskā atrakcija, homonīmija, vārda iekšējā forma.

Zusammenfassung

Im Beitrag wird ästhetische Funktion, die im Idiolekt (im Stil eines Dichters, Schriftstellers) vorkommt und die dadurch realisiert wird, dass die etymologisch verbundenen Wörter im Werk des Autors eine wichtige Rolle spielen. Der Beitrag enthält die linguistische Analyse des Gedichts von M. Zwetajewa «Minute» (1923), wobei die Prinzipien der etymologischen Analyse auch berücksichtigt werden. Der bildliche Inhalt des lyrischen Werkes basiert auf dem Benutzen der bewussten

Korrelationen im Kontext zwischen den etymologisch verwandten Wörtern sowie zwischen den Wörtern, die durch paronomasiologische Attraktion (falsche Verwandtschaft) verbunden sind.

Schlüsselworte: Sprache eines literarischen Werkes, Idiolekt, ästhetische Sprachfunktion, lexikalische Semantik, etymologische Reflexion, paronomasiologische Attraktion, Homonymie, innere Wortform.

Лексика оттеночной цветовой гаммы: этимология и семантика

Krāsu nosaukumu nianses: etimoloģija un semantika

Lexik mit der Semantik der Schattierungen in der Farbenbezeichnung: Etymologie und Semantik

Галина Сырица
Daugavpils Universitāte,
Vienības 13, Daugavpils, LV-5401,
galina.sirica@du.lv

В работе рассматривается лингвокультурологический аспект лексики оттеночной цветовой гаммы. Анализ лексики связан с определением этимологической характеристики, выявлением цветовой символики, а также приращений смысла, заданных дискурсами. В центре внимания находится лексема *бурый*. Рассматриваемая лексема отсутствует в целом ряде языков и переводится сложными словами, передающими оттенки цвета: *tumšbrūns* (темно-коричневый) в латышском языке, *greyish-brown*, *muddy-brown* (серо-коричневый, грязно-коричневый) в английском языке, *dunkelbraun*, *schwarzbraun* (темно-коричневый, черно-коричневый) в немецком языке. Значимость лексемы *бурый*, характеризующей расплывчатость, неопределенность цвета, для русской языковой картины мира подтверждается наличием дериватов, пословиц и поговорок, а также ее активным использованием в жанрах устного народного творчества и в идиостиле русских писателей.

Ключевые слова: цветная лексика, этимология, семантика, символика, дискурс.

Различные аспекты проблемы цвета в языке и культуре, в том числе с точки зрения выявления цветовой парадигмы в национальной культуре, затрагивались в целом ряде работ. Лингвокультурологическое осмысление цветовой лексики (концептосферы цвета) связано, прежде всего, с определением ее этимологической характеристики, выявлением цветовой символики, а также культурных приращений смысла, заданных контекстами употребления цветовой лексики в текстах разных литературно-художественных направлений и жанров. Давнее бытование в языке цветовой лексики, входящей в ядро семантического поля цвета, предопределило сложность ее семантической структуры (наличие прямых, переносных и символических значений). Не меньший интерес для исследования представляет лексика, связанная с выражением оттеночной цветовой гаммы, среди которой особое место занимает цветная лексика, обозначающая лошадиные масти: *буланый*, *гнедой*, *каурый*, *пегий*, *бурый* и др. Как правило, эти слова употребляются в качестве кличек лошадей.

Обратимся к анализу лексемы *бурый*, которая занимает одно из важных мест в русской языковой и концептуальной картине мира. Она не входит в группу основных спектральных цветов, связана с обозначением оттеночной цветовой семантики и в этом смысле занимает периферийное место в семантическом поле цвета. Однако благодаря своему значению – ср.: *Серовато-коричневый // Темно-коричневый с красноватым отливом* – о масти лошади (МАС т. 1, с. 127) – она устанавливает связи с цветовой триадой *красное – белое – черное*, центральной для большинства древних культур (Тернер 1972), а также с триадой *белое – красное – зеленое*, релевантной для русской культуры (Петров, Шенелева 1996).

Нет общепризнанной точки зрения на происхождение лексемы *бурый*. В этимологических словарях чаще всего указывается на заимствование из тюркских языков, однако есть предположение и о другом пути заимствования – из западно-европейских языков, „в таком случае источником могло бы быть лат. *virgus* *красный*” (Преображенский 1959, с.55). М. Фасмер отмечает, что „отсутствие этого слова в чеш., в.-луж., словен. языке говорит в пользу вост. происхождения, тем более что названия лошадиных мастей (ср. *карий*, *буланый* и т.п.), как правило, заимств. из тюрк.” (Фасмер т. 1, с. 249). П. Я. Черных пишет, что „в русском языке прилагательное *бурый* известно с ранней древнерусской эпохи” и устанавливает связи с польским словом *buru* (с XV в.), отмечая при этом, что „в польский язык оно могло попасть из древнерусского” (Черных 2002, т. 1, с. 125).

Лексема *бурый* относится к группе цветовой лексики, указывающей, прежде всего на неясность, расплывчатость, неопределенность цвета, что является характерной чертой прилагательных, связанных с обозначением масти. Эту группу лексики отличает „слабая членимость масти по цветовому ряду, а также «размытость» цветовых смыслов – особенно по красно-коричневому ряду – наиболее частотному и характерному для масти лошади” (Моисеенко В. Е., Моисеенко Л. Н. 2003, с. 138). Значение слова *бурый* в словаре Даля передается группой синонимов: 'цвет кофейный, коричневый, ореховый, смурый, искрасна черноватый; такая же конская масть, между рыжею и вороною', указывающих на широкую палитру оттенков цвета (Даль 1981, т. 1, с. 144). Семантика неопределенности закреплена также во фразеологизме *ни сиво, ни буро* – 'ни то, ни се', свидетельствующем одновременно о рядоположенности бурого и сивого цветов. Кроме того, слово *бурый* часто вовлекается в состав сложных слов с той же семантикой неопределенного цвета (ср., например, слово *серо-буро-малиновый*, закреплённое в системе языка; ср. также наличие в польском языке поговорки *w nosy wszystkie koty bure*, эквивалентом которой в русском языке является *ночью все кошки серы*). Конкретизация этого цветообозначения в известной степени достигается путем указания на типичный, характерный объект, имеющий данный цвет: *бурый железняк, бурый уголь, бурая лиса, бурая пшеница* и др. Однако и в этом случае гамма оттенков может быть широкой (ср.: '**Бурый медведь** – вид медведя различной окраски: от рыжей до черновато-коричневой' МАС т. 1, с. 127).

Эта лексема часто используется в контекстах, указывающих на неопределенный, размытый, “приобретенный” грязный цвет: “Снег на крышах был покрыт бурым, грязноватым налетом” (М. Горький «Двадцать шесть и одна»). Предмет любого цвета может становиться со временем (от старости) бурым. Это отражено в структуре словарного значения слова *буреть*: '1. Выделяться своим бурым цветом, виднеться (о чем-л. буром).

2. Становиться бурый' (МАС, т. 1, с. 126). В повести И. Шмелева «Богомолье», насыщенной христианской символикой цвета, лексема *бурый* (*буренький*) в описании игрушечных лошадок также указывает на размытость, неопределенность цвета: “Одни на солнышке подсыхают, а другие – словно ободранные, **буренькие**, и их крашивают” (с. 124). Примечательно, что неполнота цвета (*буренькие, крашивают*) восполняется символическим красным цветом; ср.: *красные ноздри делает*. Помещение бурого цвета в разряд «веселых» цветов; ср.: “Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного лука, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсиновой цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая – с ботвиньей...” (с. 56.) связано, прежде всего, с тем, что лексема *бурый* становится частью сложного слова, конкретизирующего его значение в сторону большей определенности: **буро-зеленая** [горка] – с ботвиньей (ср. в этом контексте: *зеленый, темно-зеленый, золотенький, розовато-бледный, золотистый* и др.).

Лексема *бурый* в значении цветového прилагательного отсутствует в целом ряде языков и переводится сложными словами, передающими оттенки цвета: *tumsbrūns* (темно-коричневый) в латышском языке, *greyish-brown, muddy-brown* (серо-коричневый, грязно-коричневый) в английском языке, *dunkelbraun, schwarzbraun* (темно-коричневый, черно-коричневый) в немецком языке. Эквивалентами в названии масти в латышском языке выступают слова *dūkans, dūkanbērs* (Раздорова 1978, с. 78). Значимость этого цветообозначения для русской языковой картины мира подтверждается наличием большого количества дериватов: **буреть, буренка (буренушка, бурешка, бурушка, буреха) бурка (бурко), сивка-бурка, чернобурка, буро, избура, буро-красный, буро-черный, буро-коричневый** и др. (ср. также отмеченные в словаре Даля слова **бурнастый** – ‘о мехе, особенно лисьем, рыжебурый, без черноты и огневой красноты’; **бурец, буряк, бурячок** – ‘о мужике-сермяжнике’; **бурошерстый, буроперый** – ‘животное в шерсти, в перьях бурой масти’ (Даль, т. 1, с. 144) и др.), а также пословиц и поговорок (ср.: *Укатали бурку крутые горки; хорошо на бурку валить, бурка все свезет*; ср. также в диалектах: *вали на бурого*). Формирование цветовой семантики рассматриваемого прилагательного на основе указания на сходство с цветом определенного предмета – ср.: в составных названиях растений, животных, минералов: **бурый железняк, бурый медведь, бурый уголь** (МАС, т. 1, с. 127) – предопределило появление в языке дериватов-зоонимов **бурка** (конь бурой масти), **буренка** (первоначально кличка бурой коровы, позже – ‘корова’), **чернобурка** (черно-бурая лиса, а также мех этой лисы).

Лингвокультурологическое наполнение лексемы *бурый* связано с использованием ее в жанрах устного народного творчества, а также в рамках конкретных идиостилей, в том числе в сказочных сюжетах (ср. у Пушкина: “В темнице там царевна тужит / А **бурый** волк ей верно служит” и др.). Примечателен сам выбор этого цветového прилагательного для обозначения волшебного волка: постоянным эпитетом в описании волка в фольклоре является *серый* (ср. название сказки: «Об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке»). Устойчивый эпитет *серый* используется и в баснях (ср.: “Из стада *серый* Волк / В лес овцу затащил” (И. Крылов «Волк и мышонок») и др.). Еще Б. В. Томашевский, отмечая разницу между эпитетом и логическим определением, писал: “Определение *серый* по отношению к лошади несомненно логическое, потому что, говоря *серая лошадь*, мы отличаем данную масть от других, как например: *буланая лошадь, вороная*

лошадь и пр. Определение серый по отношению к волку (сказочный серый волк) не является логическим, потому что не для того говорят серый волк, чтобы отличить его от волка другой масти. Это вообще волк, и слово серый только подчеркивает привычный и типический цвет волчьей шерсти” (Томашевский 1959, с. 201).

В названии волшебного коня в сказке «Сивко-бурко» контаминируется группа семантически связанных цветообозначений: *сивка бурка вещей каурка* (вариант: *сивко-бурко вещей воронко*, ср. также сокращенные варианты имени: *Бурко, Воронко*). Сочетание цветов само по себе знаменательно, причем все они используются для обозначения лошадиной масти и одновременно актуализируют свои цветовые потенции: *каурий* – ‘светло-каштановый, рыжеватый (о масти лошади)’, *вороний* – ‘черный (о масти лошади)’, *сивый* – ‘серовато-сизый, пепельно-серый (о масти лошади)’. Название сказочного коня, с одной стороны, подчеркивает его простое, простонародное начало, сближающее его с героем сказки, Иваном-дураком – ср. сниженный характер номинации *сивка*; разг.: *Лошадь сивой масти*’ – (МАС, т. 4, с. 88), а также закрепившиеся в языке сниженные фразеологизмы *врет как сивый мерин*; *глуп как сивый мерин*. Контекстуальные приращения смысла, связанные с указанием на простоту, непритязательность, «деревенскость», слово *бурый* получает также в стихотворении А. Пушкина «Зимнее утро»: “А знаешь, не велеть ли в санки /Кобылку *бурую* запретить?” Черновой вариант строки давал другой коннотативный фон (ср.: “коня черкесского запретить”). С другой стороны, благодаря сложному сочетанию цветов подчеркивается необычность коня, обладающего волшебными силами. Указание на особенность масти, окраски в волшебных сказках часто выступает как особая примета животных, птиц (ср.: “золотогривый конь”, “Свинка золотая щетинка, утка золотые перышки”).

Мифологическая символика в описании этого сказочного персонажа задана акцентированием мифологем *левый – правый*: *в правое ухо залез – влево молодцем сделался*. Кроме того, на первый план в его описании выведены демонические стихии огня, дыма: “*Бурко бежит, только земля дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым валит столбо*”. При этом *сивко-бурко* является носителем доброго начала, восстанавливает справедливость. В такой же роли выступает и другой сказочный персонаж – волшебная корова *буренушка*. В сказке «Буренушка» она называется *буренушка* и *коровушка-буренушка*. В ее описании также акцентируется мифологема *правый – левый*: “*В праву ножку буренушке поклонилась*”. Носительницей доброго начала она остается и после смерти, когда превращается в ракивов куст.

В «Мертвых душах» Н. Гоголя лексема *бурый* синонимизируется со словом *медвежий* (ср. о Собакевиче: “*фрак на нем был совершенно медвежьего цвета*”). «Бурое», медвежье начало Собакевича передано целой группой лексики: “*показался весьма похожим на средней величины медведя*” (с. 93), “*медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем*” (с. 94); “*Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь*” (с. 105).

В портретном описании Иванушки в «Деревне» И. Бунина слова *бурый* и *медвежий* также оказываются рядоположенными. Лексема *бурый* повторяется трижды и указывает на животное (медвежье) начало героя, связанное с его одичанием: “*Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия,*

некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой **бурой** головы, ходивший носками внутрь. (...) На его **бурых** волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. (...) От ветхого **бурого** чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой”; ср. также: “косолопо шел; с раскрытой головой, на которой белел снег; как на какого-то степного зверя; широко и неловко, точно лапой, крестился; силится поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные сощуренные глазки” (с. 91).

В романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» лексема *бурый* встречается в описании хвоста черта и выступает как устойчивая примета его внешнего вида: “хвостике же толстый, **бурый**, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади” – описание черта Ферапонтом (т. 14, с. 154); “Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, **бурый**...” – черт, явившийся Ивану, (т. 15, с. 86). Бурый цвет в описании черта отражает мифологическое представление русского народа об одном из его цветов; ср. в словаре Даля: *бур черт, сер черт, все один бес; Все черти одной шерсти* (т. 1, с. 12). С помощью этого слова имплицитно подчеркивается зооморфное начало черта.

Мифологема *бурый* ('имеющий цвет земли, земляной') – ср.: земля 'Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты' (МАС, т. 1, с. 608) – составляет оппозицию голубому (небесному) цвету. Контекстуальным синонимом слова *бурый* становится определение *земляной* в характеристике семьи Карамазовых: “Тут '*земляная карамазовская сила*' (...) *земляная* и неустоявая, необделанная...” (т. 14, с. 201). Кроме того, в семантической структуре слова *бурый* есть указание на три цвета, имеющих символическое значение в портретном тезаурусе романа Достоевского – *серый, коричневый и красный*; ср. о черте: “Одет он был в какой-то **коричневый** пиджак” (т. 15, с. 70); ср. также его реплику о себе: “не явился тебе как-нибудь в **красном** сиянии” (т. 15, с. 81). Соотносительным с этим цветом является рыжий цвет, в структуре значения которого есть сема *бурый*: ‘Красновато-желтый (о цвете, окраске) // Выцветший, ставший красновато-бурым’ (МАС, т. 3, с. 745). Слово *рыжий* также относится к мифологемам (ср.: *рыжий да красный – человек опасный*; огненно-красная борода – одна из внешних черт дьявола, один из коней в Апокалипсисе – ярко-красный, рыжий) и как примета внешности неизменно расширяет свою семантику.

Мифологема *бурый*, данная в описании черта, устанавливает ассоциативные связи с описанием денег, где дважды подчеркнутым является глагол *буреть*: “от-чего бы им **буреть**? Эти двадцатипятирублевые иногда ужасно **буреют** (...)” (реплика Фердыщенко) (т. 8, с. 79). *Буреть* в этом контексте получает значение «становиться грязным» (ср.: *двадцатипятирублевая ассигнация* в XIX веке имела синонимичное название по цвету – *беленькая*). Цифра *двадцать пять* (о деньгах) получает добавочные приращения смысла (ср.: *бурый черт – бурые деньги*). Кроме того, ее ассоциативный фон задан взаимодействием с мифологемой *угол*; ср. одно из значений слова *угол*: ‘Прост. устар. Кредитный билет или сумма в 25 рублей’ (МАС, т. 4, с. 459). Слово *угол* в этом значении актуализовано в поэме Гоголя «Мертвые души»: “То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти **угла** не дам, копейки не прибавлю” (разговор Собакевича с Маниловым); задаток, который Чичиков дает Собакевичу за проданные мертвые души – двадцать пять рублей: “написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна” (с. 106);

двадцать пять рублей всего находит в бумажнике Добчинский для взятки Хлестакову.

Символическая цифра *двадцать пять* (*Vingt cinq roubles, двадцатипятирублевый*) становится лейтмотивом в описании денег в романах Ф. Достоевского. Мать Раскольниковы пишет в письме, что собирается прислать ему *“рублей двадцать пять или даже тридцать”* (т. 6, с. 34); *“у меня родственница одна двадцать пять рублей таким образом наемни потеряла”* (рассказ Раскольникова) (т. 6, с. 127). Разумихин после покупки одежды Раскольникову произносит: *“денег остается нам двадцать пять рубликов”* (т. 6, с. 102). Эти деньги берет Раскольников с собой, в первый раз после совершения преступления отправляясь на прогулку: *“Денег было двадцать пять рублей”* (т. 6, с. 120); ср. также: *“протянул он [Раскольников] Заметову свою дрожащую руку с кредитками, – красненькие, синенькие, двадцать пять рублей”* (т. 6, с. 129) и др. В описании князя Мышкина: *“вам лучше бы избежать карманных денег, да и вообще денег в кармане (...) Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст (...), позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей”* (генерал Епанчин – князю Мышкину) (т. 8, с. 30); ср. также повтор: *“Я ему двадцать пять рублей подарил”* (т. 8, с. 44), *“у меня есть двадцать пять рублей”* (т. 8, с. 75), *“а вот двадцать пять, разменяйте”* (князь Мышкин) (т. 8, с. 106) и др.

В описании подростка: *“а шуба у меня старая, енотовая, версильковский обносок: продать – стоит рублей двадцать пять”* (т. 13, с. 163); подросток перепродает выкупленный альбом: – *“Я бы должен был спросить двадцать пять рублей”* (т. 13, с. 38). Доминанта получает приращения смысла, связанные с указанием на шулерство, вымогательство: *“- Vingt cinq roubles! – указал Андреев Тришатову на кредитку, которую еще давеча сорвал с Ламберта. (...) И за что ты содрал с него двадцать пять? (...) вот тебе ровно и двадцать пять”* (разговор Тришатова с Андреевым) (т. 13, с. 354) и др.

Двадцать пять рублей вымогает Ракидин у Грушеньки за то, что он привел Алешу к Грушеньке. Значимость доминанты подчеркнута многократным ее повтором: *“ему двадцать пять рублей пообещала (...) вынула портмоне, а из него двадцатипятирублевую кредитку (...) двадцатипятирублевую кредитку он сунул в карман”* (т. 14, с. 319). *“Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних “презираешь?”* (т. 14, с. 325); ср. также на суде: *“она пообещала вам выдать двадцать пять рублей; (...) получили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных”* (...) (т. 15, с. 100). Доминанта *двадцать пять* выступает в роли косвенной характеристики героя в сниженном описании московского врача, который *“брал за визиты не менее двадцати пяти рублей”* (т. 15, с. 103) и мн. др.

Итак, в романах Ф. Достоевского мифологема *бурый* связана с концептом *черт*, являясь его составной частью, способствует развитию мифологической семантики концепта *деньги (двадцать пять рублей)*. Кроме того, эта лексема устанавливает связи с мифологемами *медведь, рыжий, угол*.

В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» лексема *бурый* встречается в описании больничного халата Мастера и получает приращения смысла, связанные не только с указанием на грязное, нечистое, но и на символический характер переодевания героя, вхождение его в новую роль: *“С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными*

глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми. (...) На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат” (с. 129).

Расширение семантической структуры рассматриваемой лексемы связано с развитием негативно-оценочной семантики. Так, в стихотворении И. Бродского «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» слово *буреть* используется в образном сравнении и имеет диффузное значение 'пьянеть', а также 'становиться бурим':

*Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают – оба.*

В словаре арго отражено новое значение слова *бурый* – ‚слишком смелый, наглый‘; *буреть* – ‚вести себя вызывающе, наглеть‘ (ср. также устойчивое сочетание *бурый медведь* – ‚смесь водки с коньяком‘) (Елистратов 1994).

Таким образом, лингвокультурологическое наполнение лексемы бурый в русской языковой картине мира связано с установлением семантики низа (*бурый – земляной, медвежий, грязный*), мифологической семантики, связанной с ирреальным, сказочным, волшебным (*сивка-бурка, бурый волк*), а также с инфернальным (*бурый черт*). Лексема *бурый* предстает в трех аспектах осмысления: реалистическом, символическом, мифологическом. Активное использование лексики этого цветообозначения в различного рода дискурсах указывает на значимость в русской концептосфере цвета лексики с семантикой размытого, неопределенного цвета, и в частности, серо-коричнево-рыже-красной гаммы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. В кн.: *М. А. Булгаков Собр. соч.* В 5-ти т. Т. 5.
2. М., 1990.
3. Бунин И. А. Деревня. В кн.: *И. А. Бунин Собр. соч. в пяти томах.* Т. 2 М., 1956.
4. Гоголь Н. В. Мертвые души. В кн.: *Н. В. Гоголь Собрание соч.* В 8-ми т. Т.5. М., 1984.
5. В. Даль *Толковый словарь живого великорусского словаря.* В 4-х т. Т.1. М., 1981.
6. Достоевский Ф. М. *Полн. собр. соч. в тридцати томах.* Т.6 – 15. Л., 1973.
7. Елистратов В. *Словарь московского арго.* М., 1994.
8. *Малый академический словарь [МАС].* В 4-х т. Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981 – 1984.
9. Матвеев Б. И. Цветопись в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». *Русский язык в школе.* №1, 2003.
10. Моисеенко В. Е., Моисеенко Л.Н. Знаем ли мы русские цветоименования? В кн.: *Русское слово в мировой культуре.* Санкт-Петербург, 2003.
11. Михайлова Т. А. «Красный» в ирландском языке: понятие и способы его выражения. *Вопросы языкознания.* №6, 1994.
12. *Народные русские сказки* А. Н. Афанасьева. В 3-х т. М., 1957.
13. Петров В. М., Шепелева С.Н. Спектральный мир Ф. М. Достоевского (семантико-культурный аспект). В кн.: *Слово Достоевского: Сборник статей.* Под ред. Ю. Н. Караулова. Москва: Институт русского языка РАН, 1996.
14. Преображенский А. Г. *Этимологический словарь русского языка.* М., 1959.

15. Раздорова Н. Сивка, бурка, вещая каурка... В кн.: *Слово в нашей речи*. Рига, 1978.
16. Руднева Е. Г. Цветовая гамма в повести И. С. Шмелева «Богомолье». *Вестник Московского университета*. Сер. 9. Филология. №6, 2000.
17. Томашевский Б. В. *Стилистика и стихосложение*. Ленинград, 1959.
18. Тернер В. У. Проблемы цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала ндембу). В кн.: *Семиотика и искусствоведение*. Москва, 1972.
19. Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка*. В 4-х т. М., 1986–1987.
20. Черных П. Я. *Историко-этимологический словарь современного русского языка*: В 2 томах. М.: Рус. яз., 2002.
21. Шмелев И. С. Богомолье. В кн.: *И. С. Шмелев Сочинения в двух томах*. 1989.

Kopsavilkums

Rakstā tiek aplūkota krāsu leksika lingvokulturoloģiskā aspektā: etimoloģija, semantika, krāsu simbolika, tās pastāvēšana dažādos diskursos. Uzmanība tiek veltīta leksēmai *бурый*. Pētāmā leksēma tiek pieskaitīta pie bezekivalentās leksikas un daudzās valodās un daudzās valodās ar saliktu vārdu palīdzību: *tumšbrūns* - latviešu valodā, *greyish-brown*, *muddy-brown*- angļu valodā, *dunkelbraun*, *schwarzbraun* - vācu valodā. Leksēma *бурый* ieņem ievērojamu vietu krievu pasaules ainā, ko apstiprina plaša derivātu sistēma, tās esamība idiomās un parunās, kā arī tās aktīva izmantošana krievu folklorā un krievu rakstnieku idiosīlā. Leksēma *бурый* attīsta trīs semantikas aspektus: denotatīvo, simbolisko un mitoloģisko.

Atslēgvārdi: krāsu leksika, etimoloģija, semantika, simbolika, diskurs.

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wird die Farbenlexik und konkret die Lexik mit der Semantik der Schattierungen in der Farbenbezeichnung als linguokulturelles Phänomen betrachtet. Es geht um die Etymologie, Bedeutung und Symbolik der Farbenlexik. Als Beispiel wird das Lexem *бурый* untersucht. Dieses Lexem hat keine direkten Entsprechungen in anderen Sprachen. Das Lexem *бурый* wird in der lettischen Sprache als *tumšbrūns*, in der englischen als *greyish-brown*, *muddy-brown*, in der deutschen als *dunkelbraun*, *schwarzbraun* übersetzt. Dieses Lexem spielt eine besondere Rolle im Russischen. Das Lexem bildet ein großes Derivatensystem und wird aktiv nicht nur in Idiomen und Sprichwörtern benutzt, sondern auch in der Folklore sowie im Schaffen von vielen russischen Schriftstellern. Die Semantik dieses Lexems kommt in den Texten in 3 Aspekten vor: denotativen, symbolischen und mythologischen.

Schlüsselworte: Farbenlexik, Etymologie, Semantik, Symbolik, Text.

LU Raksti. 720. sēj. Valodniecība. Studia etymologica germano – balto – slavica, 2007

LU Akadēmiskais apgāds
Baznīcas ielā 5, Rīga, LV-1010
Tālr. 7034535